



Вот так и жила, могла вздохнуть  
~~вздохнуть~~ <sup>свободу</sup> ~~новому~~ ~~вещному~~ ~~дню~~  
Вздохнуть ~~свободному~~ ~~дню~~  
Теперь ~~вот~~ ~~так~~ ~~жизни~~ —  
Вот ~~какая~~ ~~свободная~~  
Не ~~идеальная~~ ~~друзья~~ ~~попытки~~  
О ~~к~~ ~~свободному~~ ~~революции~~ ~~в~~ ~~двух~~  
Не ~~реприменяется~~ ~~длина~~  
Не ~~останов~~ — ~~какая~~ ~~идея~~ ~~неудачливости~~  
Видите, ~~длина~~ ~~и~~ ~~попытки~~  
Кого ~~какая~~ ~~идея~~ ~~идея~~ ~~идея~~!  
~~Какая~~ ~~идея~~ ~~идея~~ ~~идея~~ —  
~~Какая~~ ~~идея~~ ~~идея~~ ~~идея~~!  
Меня ~~идея~~ ~~идея~~ ~~идея~~ ~~идея~~!

~~Какая~~ ~~идея~~ ~~идея~~ ~~идея~~!!!  
Проблема ~~идея~~ ~~идея~~ ~~идея~~  
Какая ~~идея~~ ~~идея~~ ~~идея~~  
Меня ~~идея~~ ~~идея~~ ~~идея~~ —  
— — —  
— — —  
— — — XV XXVII —

*С.А.Фомичев*

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

*Движение замысла*



*Москва  
Русский путь  
2005*

Оформление *П.А. Сандомирского*

Автор приносит сердечную благодарность  
за помощь в работе над книгой  
Карпову Юрию Александровичу,  
Паньшиной Екатерине Львовне,  
Новаковой Майе Михайловне,  
Яковенко Нинель Георгиевне

В оформлении обложки  
использован рисунок А.С. Пушкина (1824)

© С.А. Фомичев, 2005

© Русский путь, 2005



## «Даль свободного романа»

Заканчивая работу над своим романом в стихах, Пушкин скажет:

Промчалось много, много дней  
С тех пор, как юная Татьяна,  
А с ней Онегин в смутном сне  
Явились впервые мне —  
И даль свободного романа  
Я сквозь магический кристалл  
Еще неясно различал.

(VI, 190)<sup>1</sup>

В «Словаре языка Пушкина» словосочетание «магический кристалл» объяснено как «шар из прозрачного стекла, употреблявшийся при гадании»<sup>2</sup>. В «магическом кристалле» видели метафору, которая была для поэта «самой адекватной формой изображения замысла “Евгения Онегина”»<sup>3</sup>. Предметное же значение метафоры обнаружено в стихотворении Пушкина 1821 г. «К моей чернильнице»<sup>4</sup>:

Сокровища мои  
На дне твоём таятся <...>  
Заветный твой кристалл  
Таит огонь небесный;  
И под вечер, когда  
Перо по книжке бродит,  
Без вялого труда  
Оно в тебе находит  
Концы моих стихов  
И верность выраженья;  
То звуков или слов  
Нежданное стечение,

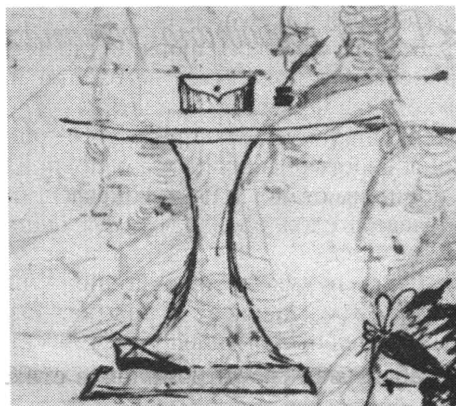


Рисунок стола с кошельком и чернильницей (ПД 831, л. 62 об.)

То едкой шутки соль,  
 То правды слог суровой,  
 То странность рифмы новой,  
 Невиданной дотоль...

(II, 183)

Пушкинская рукопись доносит до нас горение творческого замысла, который постоянно менялся — с каждой вновь созданной строкой.

В своем исследовании романа «Евгений Онегин» В.В. Набоков закликает: «Черновые наброски, ложные следы, не до конца пройденные тропинки, тупики вдохновения не имеют большого значения для понимания сути романа. Художник должен безжалостно уничтожить все свои рукописи после опубликования произведения, чтобы они не дали ложного повода ученым посредственностям считать, что, исследуя отвергнутые варианты, можно разгадать тайны гения. В искусстве цель и план — ничто: результат все»<sup>5</sup>. Ниже, однако, тот же автор — уже в роли комментатора, — противоречит сам себе, сожалеет: «Без непосредственного изучения рукописей ЕО, в которых Пушкин по доброй привычке датировал этапы своей работы (оставляя, кроме того, другие бесценные заметки), я не питаю надежд описать процесс создания ЕО так, чтобы это меня удовлетворило. Я исследовал все доступные фотографии черновиков; но таковых оказалось немного, и

пока не опубликованы факсимиле всех пушкинских рукописей (как пятьдесят лет назад распропагандировали пушкинисты), мне приходилось полагаться на работы тех, кто имел возможность хотя бы мельком их видеть»<sup>6</sup>.

Ныне факсимильное издание рабочих тетрадей Пушкина, в которых, к счастью, сохранился основной массив онегинских черновиков, стало доступно исследователям<sup>7</sup>, что помогает проследить сложную судьбу *свободного*, по определению автора, романа.

Последняя дата в рукописи «Евгения Онегина» (ПД 165)<sup>8</sup> — «5 окт. 1831 С<арское> С<ело>». Так случилось, что многолетний труд был окончен в поэтическом отечестве Пушкина. К своей юности поэт обращался в последней главе романа:

В те дни, когда в садах Лицея  
Я безмятежно расцветал,  
Читал охотно Апулея,  
А Цицерона не читал,  
В те дни, в таинственных долинах,  
Весной при кликах лебединых,  
Близ вод, сиявших в тишине,  
Являться Муза стала мне...

(VI, 165)

В июле 1831 г., получив от П.А. Плетнева известие о смерти от холеры их общего знакомого, П.С. Молчанова, Пушкин напишет: «Письмо твое от 19-го крепко меня опечалило. Опять хандришь. Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвиг умер, Молчанов умер, погоди — умрет и Жуковский, умрем и мы. Но жизнь еще богата; мы встретим новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жены наши — старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята; а мальчики будут повесничать, а девочки сентиментальничать; а нам то и любо. Вздор, душа моя; не хандри — холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы» (XIV, 637).

Тем же ощущением постоянного возрождения жизни пронизан роман Пушкина — вплоть до последней его строки.

Несмотря на то, что мы оставляем героя «в минуту, злую для него»...

Несмотря на невольный вздох автора в заключительной строфе: «О много, много Рок отъял!» (VI, 190)...

Несмотря на неблагоприятность судьбы к самой Музе, явившейся некогда поэту в садах Лицея:

Но Рок мне бросил взоры гнева  
И вдаль занес. — Она за мной.  
Как часто ласковая дева  
Мне услаждала в час ночной  
Волшебством долгого рассказа...  
(VI, 622)

«У Пушкина-лицеиста, — замечает С.Г. Бочаров, — есть стихотворение (“Послание к Юдину”, 1815), длинное и не очень выразительное, но с неожиданно сильной концовкой:

В мечтах все радости земные!  
Судьбы всемогшее поэт.

Каково в 16 лет так сказать! <...> Поэт — свободная сила в противоборстве с судьбой. Соизмеримая сила, но — “всемогшее”: гениальное, само по себе всемогущее, “мгновенное” в пушкинском смысле слово...»<sup>9</sup>.

Внимание исследователей давно привлекало признание поэта в одном из последних его писем, которое было 10 ноября 1836 г. отправлено в Артек князю Н.Б. Голицыну: «Как я завидую вашему прекрасному крымскому климату: письмо разбудило во мне множество воспоминаний всякого рода. Там колыбель моего “Онегина”, и вы, конечно, узнали некоторых лиц» (XVI, 184).

В Крыму Пушкин провел всего один месяц в 1820 г. Но дни эти стали для него поистине подарком судьбы. Возвратившись из путешествия, он писал брату: «Суди: был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства, жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался, — счастливое полуденное небо; прелестный край — горы, сады, море; друг мой, любимая моя надежда — увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского» (XIII, 19).

Важно напомнить, что поездка в Крым еще в Петербурге, перед ссылкой, была изначально запланирована и (вероятно, по ходатайству знаменитого генерала) властями разрешена. 7 мая 1820 г. почт-директор К.Я. Булгаков сообщал в Москву: «Пушкин-поэт, поэтов племянник, вчера уехал в Крым». О том же писал Н.М. Карамзин: «Пушкин <...>

благополучно поехал в Крым месяцев на пять»; «дозволили ему ехать в Крым»<sup>10</sup>. А потому из Екатеринослава, где его нагнали Раевские, ссыльный юноша отправился в древнюю Тавриду после долгого ожидания заманчивых впечатлений. Отсюда — обилие связанных с Крымом замыслов, большинство из которых осталось в черновых набросках.

Завершено же было — и то в разные годы — всего несколько стихотворений и поэма «Бахчисарайский фонтан». «Вот тебе, милый и почтенный Асмодей, — писал он 4 ноября 1823 г. П.А. Вяземскому, — последняя моя поэма. Я выбросил то, что цензура выбросила б и без меня, и то, что не хотел выставлять перед публикою. Если эти бессвязные отрывки покажутся тебе достойными тиснения, то напечатай, да сделай милость, не уступай этой суке цензуре, огрызайся за каждый стих и загрызи ее, если возможно, в мое воспоминание. Кроме тебя, у меня *там* нет покровителей; еще просьба: припиши к “Бахчисараю” предисловие или послесловие, если не ради меня, то ради твоей похотливой Минервы, Софьи Киселевой; прилагаю при сем полицейское послание, яко материал; почерпни из него сведения (разумеется, умолчав об источнике)» (XII, 73).

«Полицейским посланием» Пушкин, вероятно, называет записку (справку), которая могла быть составлена, по его просьбе, в Одессе С.С. Киселевой (урожденной Потоцкой) о героине семейной легенды. «Предание, известное в Крыму и поныне, — заметит П.А. Вяземский в предисловии к поэме, — служит основанием поэмы. Рассказывают, что хан Керим Гирей похитил красавицу Потоцкую и содержал ее в бахчисарайском гареме; полагают даже, что он был обвенчан с нею. Предание сие сомнительно, и г. Муравьев-Апостол в *Путешествии* своем *по Тавриде*, недавно изданном, восстает, и кажется основательно, против вероятия этого рассказа. Как бы то ни было — сие предание есть достояние поэзии»<sup>11</sup>. Что же касается авторского определения поэмы как «бессвязных отрывков», то здесь следует вспомнить о поэме «Таврида», черновики которой сохранились во Второй Кишиневской тетради (ПД 832). Открывалась эта поэма и в самом деле «любовным бредом» и размышлениями о бессмертии, чуждыми религиозной ортодоксальности (а потому и неподцензурными). Отметим, что эти рассуждения полемично перекликаются с некоторыми строками державинской оды «Бог»:

...А я перед Тобой — ничто.

Ничто! — Но Ты во мне сияешь  
Величеством Своих доброт;  
Во мне Себя изображаешь,  
Как солнце, в малой капле вод.  
Ничто! — Но жизнь я ощущаю,  
Несытым некаким летаю  
Всегда пареньем в высоты <...>

Твоей то правде нужно было,  
Чтоб смертну бездну проходило  
Мое бессмертно бытие;  
Чтоб дух мой в смертность облачился  
И чтоб чрез смерть я возвратился  
Отец! — в бессмертие Твое...<sup>12</sup>

Ср. в пушкинской «Тавриде»:

Ты, сердцу непонятный мрак,  
Приют отчаянья слепого,  
Ничтожество! Пустой призрак,  
Не жажду твоего покрова...  
Конечно, дух бессмертен мой,  
Но, улетев в миры иные,  
Ужели с ризой гробовой  
Все чувства брошу я земные  
И чужд мне будет мир земной?  
Ужели там, где все сияет  
Нетленной славой и красотой,  
Где чистый пламень пожирает  
Несовершенство бытия,  
Минутной жизни впечатлений  
Не сохранит душа моя,  
Не буду ведать сожалений,  
Тоску любви забуду я?..<sup>13</sup>

Замысел «Тавриды» остался невоплощенным, вернее, был ограничен лишь одним эпизодом: лирической интерпретацией предания о любви крымского хана к польской княжне, «перерождением (если не просветлением), — по определению В.Г. Белинского, — дикой души через высокое чувство любви»<sup>14</sup>.

В творческой лаборатории Пушкина, однако, ничто бесследно не пропадало.

Казалось бы, собственно крымских строк в романе «Евгений Онегин» не так уж и много: всего неполные три строфы (написанные в 1829 г.) в «Путешествии Онегина»:

Воображенью край священный:  
С Атридом спорил там Пилад,  
Там закололся Митридат,  
Там пел Мицкевич вдохновенный  
И посреди прибрежных скал  
Свою Литву воспоминал.

Прекрасны вы, брега Тавриды,  
Когда вас видишь с корабля  
При свете утренней Киприды,  
Как вас впервой увидел я;  
Вы мне предстали в блеске брачном:  
На небе синем и прозрачном  
Сияли груды ваших гор,  
Долин, деревьев, сел узор

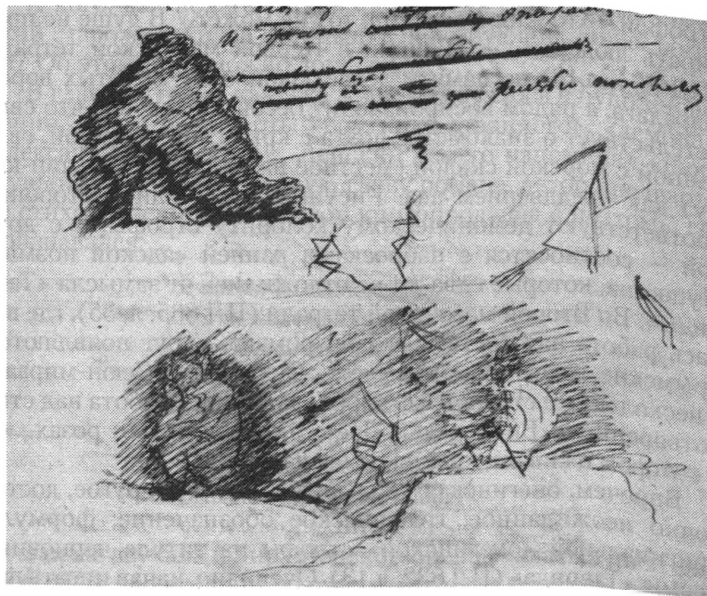


Рисунок скалы Шайтан-копу (ПД 834, л. 18)

Разостлан был передо мною.  
 А там, меж хижинок татар...  
 Какой во мне проснулся жар!  
 Какой волшебною тоскою  
 Стеснилась пламенная грудь!  
 Но, Муза! прошлое забудь.

Какие б чувства ни таились  
 Тогда во мне — теперь их нет:  
 Они прошли иль изменились...  
 Мир вам, тревоги прежних лет!  
 В ту пору мне казались нужны  
 Пустыни, волн края жемчужны,  
 И моря шум, и груды скал,  
 И гордой девы идеал,  
 И безымянные страдания...  
 (VI, 199–200)

Но подспудно крымские воспоминания то и дело оживали в черновиках первых глав романа. Так, при работе над строфой «Кто жил и мыслил, тот не может / В душе не презирать людей...», — Пушкин в Первой масонской тетради (ПД 834, л.18) по памяти делает зарисовку Золотых ворот Карадага, а рядом воспроизводит бесовские сцены, что свидетельствует о знакомстве поэта с крымской легендой, связанной с морской скалой (местное название ее: Шайтан-капу) как преддверием ада. Рисунки эти, с одной стороны, соответствуют демоническому колориту строфы, а с другой — соотносятся с набросками ранней «адской поэмы» Пушкина, которые едва ли не отложились от замысла «Тавриды». Во Второй масонской тетради (ПД 835, л. 35), где велась работа над третьей главой романа, вдруг появляются крымские названия «Ак-мечеть, Сеюн-бору, Сеюн-мирза», а несколькими страницами ниже (л. 38) идет работа над стихотворением «Виноград» («Не стану я жалеть о розах...»), в котором оживали крымские впечатления.

Впрочем, онегинская «колыбель» имеет и другое, достаточно неожиданное, графическое обозначение: формулу оригинальной «онегинской» строфы на титуле черновика поэмы «Таврида» (ПД 832, л.13). Очевидно, начав писать поэму стихами со свободными рифмовками, Пушкин, в конце концов, почувствовал необходимость строгой метрической



формы обширного, по замыслу, повествования, и именно тогда начал перерабатывать один из фрагментов «Тавриды» изобретенной строфой.

Впоследствии эта строфа («Я помню море пред грозою...») будет окончательно прописана 13 июня 1825 г. в письме к брату (ПД 1261, л. 13), который следил за публикацией первой главы романа. Поэтому и считалось, что, обрабатывая ранние «крымские» строки по онегинскому строфическому канону, Пушкин на титуле «Тавриды» записал будто бы в Михайловском формулу строфы для собственного контроля. Но это совершенно невероятное допущение! В 1825 г., во время работы над третьей главой романа, автору незачем было «контролировать себя». Другое дело — тогда, когда только что изобретенная (для «Тавриды») строфа была еще для Пушкина новинкой. В ту пору она так и не пригодилась. Лишь начиная работу над «Евгением Онегиным», Пушкин вспомнил свой прежний строфический опыт и им уверенно воспользовался, укладывая в «крымскую» строфическую «колыбель» свой свободный роман.

А кого, как полагал Пушкин, должен был узнать крымский старожил, князь Голицын, в действующих лицах романа? Об этом тоже можно догадаться.

В главном герое, как уже давно отмечалось в пушкиноведении, отразились черты «спутника странного», «демона», Александра Раевского<sup>15</sup>. Ленский чем-то напоминал юного Пушкина. Публикуя первую главу романа, автор предварил ее стихотворением «Разговор книгопродавца с поэтом», где признавался:

Я время то воспоминал,  
Когда, надеждами богатый,  
Поэт беспечный, я писал  
Из вдохновенья, не из платы.  
Я видел вновь приюты скал  
И темный кров уединенья,  
Где я на пир воображенья,  
Бывало, лиру призывал...<sup>16</sup>

Так же звучала и лира Ленского, певца «золотых дней своей весны». Но недаром поэт вспоминает и «приюты скал» — несомненно, крымских. И это, в свою очередь, помогает угадать прототип еще одной из героинь романа. Она мечтатель-

ной тенью проходит в лирических излияниях автора в первой главе...

Это та девушка, за которой некогда поэт шел «по наклону гор» (не Аю-дага ли?) «дорогой неизвестной»... Та, которая пробудила зависть к волнам, которые ложились с любовью к ее ножкам... Та «дева юная», которая в Крыму вечернюю звезду «именем своим подругам называла»...

Едва ли можно сомневаться, что во всех этих случаях имелась в виду самая прелестная из трех дочерей генерала Раевского — Екатерина.

Роман в стихах далеко отошел от раннего замысла крымской поэмы. Но можно ли не заметить, что и в нем, в итоге, восторжествовала мысль о просветлении демонической души через высокое чувство любви?..

«Долгий» же рассказ был начат только в Кишиневе в 1823 г. 13 января ссыльный поэт обратился с официальным отношением к графу К.В. Нессельроде, министру иностранных дел, по ведомству которого он числился со времени окончания Лицея: «Граф. Будучи причислен по повелению Его Величества к Его Превосходительству бессарабскому Генерал-губернатору, я не могу без особого разрешения приехать в Петербург, куда призывают меня дела моего семейства, с коим я не виделся уже три года. Осмеливаюсь обратиться к Вашему Превосходительству с ходатайством о предоставлении мне отпуска на два или три месяца...» (оригинал на фр. яз. — XIII, 55). Как раз через три месяца, однако, до Пушкина доходит весть, что прошение его не было высочайше одобрено, о чем поэт сообщал 5 апреля П.А. Вяземскому: «Мои надежды не сбылись: мне нынешний год нельзя будет приехать ни в Москву, ни в Петербург». Между прочим, в том же письме читаем: «Говорят, что Чеданов едет за границу — давно бы так; но мне жаль из эгоизма — любимая моя надежда была с ним путешествовать — теперь Бог знает когда свидимся» (XIII, 61).

Три года ссылки... Мечта о заграничном путешествии с другом... Несбывшаяся надежда вернуться в Петербург...

Там некогда гулял и я:  
Но вреден север для меня...  
(VI, 6)

Роман еще не начат, но, чтобы открылась его даль, нужна лишь некая подсказка житейских обстоятельств.



<sup>1</sup> Ссылки на Большое академическое Полное собрание сочинений Пушкина 1937–1949 гг. даются в тексте сокращенно (номера томов и страниц).

<sup>2</sup> Словарь языка Пушкина. М., 1957. Т. 2. С. 406.

<sup>3</sup> *Тархов А.Е.* Комментарий // Пушкин А.С. Евгений Онегин. М., 1980. С. 324–326.

<sup>4</sup> *Набоков В.В.* Комментарий к роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин». СПб., 1998. С. 595. Сводку сведений об истории данного выражения см.: *Мокиенко В.М., Сидоренко К.П.* Словарь крылатых выражений Пушкина. СПб., 1999. С. 14–15.

<sup>5</sup> Там же. С. 41.

<sup>6</sup> Там же. С. 68.

<sup>7</sup> *Пушкин А.С.* Рабочие тетради. Т. I–VIII. СПб.; Лондон, 1994–1998.

<sup>8</sup> Беловой автограф Письма Онегина (в ссылках на автографы Пушкина, хранящиеся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, ф. 244, оп. 1, — здесь и далее указывается лишь номер единицы хранения и в необходимых случаях — номер листа рукописи).

<sup>9</sup> *Бочаров С.Г.* О возможном сюжете: «Евгений Онегин» // Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999. С. 62.

<sup>10</sup> Летопись Александра Пушкина / Сост. Н.А.Тархова. М., 1999. Т. 1. С. 182, 184, 190.

<sup>11</sup> Пушкин в прижизненной критике. 1820–1827. СПб., 2001. С. 155.

<sup>12</sup> *Державин Г.Р.* Стихотворения. Л., 1957. С. 115–116.

<sup>13</sup> *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. Л., 1977. С. 103–104. (В Малом академическом издании текст «Тавриды» воспроизведен более корректно, нежели в Большом.)

<sup>14</sup> *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 7. С. 380.

<sup>15</sup> См.: *Лакшин В.Я.* Спутник странный // Лакшин В.Я. Биография книги: Статьи, исследования, эссе. М., 1979.

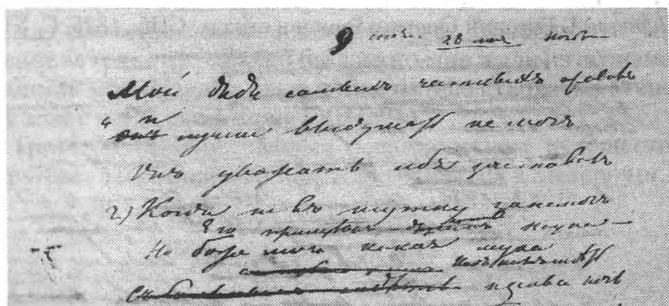
<sup>16</sup> *Пушкин А.* Евгений Онегин: Роман в стихах. СПб., 1825. С. XII.

## «На волю птичку выпускаю...»

Непосредственная работа над романом была начата Пушкиным в Первой масонской тетради (ПД 834, л. 4 об.) «28 мая ночью» (рукопись первой строфы, по почерку и цвету чернил сходная с данной пометой, в этом не оставляет сомнения). Но что же тогда значила дата «9 мая», прописанная чуть выше? Мы увидим, что в 1830 г. в Болдине именно от 9 мая 1823 г. Пушкин ведет отсчет времени работы над романом, а ведь в ту пору у него не было под рукой Первой масонской тетради.

Можно понять, почему для поэта была памятна первая дата.

Именно с этого времени Пушкин отсчитывал срок своей ссылки. 9 мая 1821 г. он пометил в своем дневнике: «Вот уже ровно год, как я оставил Петербург» (XII, 302)<sup>1</sup>. Поэтому в Болдине, спустя семь с лишним лет, он помнит о дате «9 мая». Но в чем ее «онегинское» значение? О чем думал



Начало рукописи «Евгения Онегина» (ПД 834, л. 4 об.)

Пушкин в этот день 1823 года? Понять это помогает его письмо от 13 мая, адресованное Н.И. Гнедичу:

«Благодарю вас, любезный и почтенный, за то, что вспомнили бессарабского пустынного. Он молчит, боясь надоедать тем, которых любит, но рад случаю поговорить с вами об чем то ни было.

Если можно приступить ко второму изданию “Руслана и Людмилы”, то всего короче для меня положиться на вашу дружбу, опытность и попечение; но ваши предложения останавливают меня по многим причинам. 1) Уверены ли вы, что цензура, поневоле пропустившая в 1-ый раз “Руслана”, нынче не опомнится и не заградит пути второму его пришествию? Заменять же прежнее новым в ее угоду я не в силах и не намерен. 2) Согласен с вами, что предисловие есть пустословие довольно скучное, но мне никак нельзя согласиться на присовокупление новых бредней моих; они обещаны Якову Толстому и должны поступить в свет особливо. Правда, есть у меня готовая поэмка, да NB цензура. *Tout bien vu*<sup>2</sup> не кончить ли дела предисловием? Дайте попробовать, авось не наскучу. Я что-то в милости у русской публики.

Je n'ai pas mérité  
Ni cet excès d'honneur ni cette indignité<sup>3</sup>

Как бы то ни было, воспользуюсь своим случаем, говоря ей правду неучитивую, но, может быть, полезную. Я очень знаю меру понятия, вкуса и просвещения этой публики. Есть у нас люди, которые выше ее; этих она недостойна чувствовать; другие ей по плечу; этих она любит и почитает. Помню, что Хмельницкий читал однажды своего “Нерешительного”; услыша стих “И должно честь отдать, что немцы аккуратны” — я сказал ему: вспомните мое слово, при этом стихе всё захлопает и захохочет. — А что здесь острого, смешного? Очень желал бы знать, сбылось ли мое предсказание.

Вы, коего гений и труды слишком высоки для этой детской публики, что вы делаете, что делает Гомер? Кюхельбекер пишет мне четырестопными стихами, что он был в Германии, в Париже, на Кавказе и что он падал с лошади. Всё это кстати о Кавказском пленнике. От брата давно не получал известия, о Дельвиге и Баратынском также — но люблю их и ленивых. *Vale, sed delenda cenzura*»<sup>4</sup> (XIII, 62–63).

Письмо это — ответ на не дошедшее до нас послание, полученное, конечно же, в ближайший до того почтовый день:

в среду<sup>5</sup>, 9 мая, в Николин день (а Гнедича звали Николаем), в третью годовщину ссылки<sup>6</sup>.

В пушкинском ответе своему издателю мы находим большой пласт «предонегинских» мотивов.

Защищая своего героя, Пушкин скажет в последней главе романа:

Зачем же так неблагосклонно  
Вы отзываетесь о нем?  
За то, что мы неугомонно  
Хлопочем, судим обо всем,  
Что пылких душ неосторожность  
Самолюбивую ничтожность  
Иль оскорбляет, иль смешит,  
Что ум, любя простор, теснит,  
Что слишком рано разговоры  
Принять мы рады за дела,  
Что глупость ветрена и зла,  
Что важным людям важны вздоры  
И что посредственность одна  
Нам по плечу и не странна?

(VI, 169)

(ср. в письме: «Есть люди, которые выше ее (публики. — С.Ф.); этих она недостойна чувствовать; другие ей по плечу; этих она любит и почитает» (XIII, 63). Как видим, спустя несколько лет Пушкин помнит не только дату рождения замысла, но и свои давние размышления, этот замысел предопределившие.

Письмо к Гнедичу объясняет также странные, на первый взгляд, позднейшие авторские опасения насчет неприемлемости для цензуры первой онегинской главы. Там не было политических инвектив, но она наполнена мотивами антиханжеской, легкой поэзии<sup>7</sup>, подобно первой пушкинской поэме — недаром в романе поэт обращается к читателям как к «друзьям Людмилы и Руслана», а в последней строфе первой главы вспоминает о цензурных придирках («Цензуре долг свой заплачу»).

Проходное упоминание в письме о Я.Н. Толстом, председателе «Зеленой лампы», тоже ориентирует на текст первой главы. Б.Л. Модзалевский заметил<sup>8</sup>, что подробно изображенный в «Евгении Онегине» день столичного dandy восходит к пространному стихотворению Я.Н. Толстого «Послание к петербургскому жителю» (1819):

Ты в роскоши, пирах, соборных,  
Забот не ведая, живешь.  
Проводишь утро на гуляньях,  
А ночь Эроту отдаешь <...>  
Проснувшись поутру с обедней,  
К полдню кончаешь туалет,  
Меж тем лежит уже в передней  
Зазывный на вечер билет <...>  
Спешишь, как будто приневолен,  
Шагами мерить бульвар <...>  
Прогулку кончивши в карикле,  
На званный завтрак ты спешишь <...>  
Тут остроты и каламбуры  
На винных поднялись парах.  
Несут анчоусы, форели,  
Фазан повержен на спине,  
Дрозды вокруг его обсели,  
И стерлядь плавает в вине;  
Пулярды с труфлями, бекасы  
И щегольское крем-брюле;  
Тут апельсины, ананасы  
И ароматное желе,  
До потолка стреляют пробки <...>  
Пора, однако же, карету  
Тебе закладывать велеть;  
Пора в театр, туда к балету,  
Я знаю, хочешь ты поспеть;  
И вот, чрез пять минут, в спектакле  
Ты в ложах лорнируешь дам. —  
Не все ключи еще иссякли  
Забав твоих! Я слышу там:  
Тебя зовут уже на танцы,  
И ты поехать слово дал <...>  
Домой захавши, фигурке  
Своей ты придал лучший тон.  
И вот уж прыгаешь в мазурке,  
Тобою дышит котильон <...>  
С восходом солнца кончишь день;  
Живя по модному уставу, —  
Тогда усталость, скука, лень;  
Снесут в карету полумертва.  
И ты до полдня крепко спишь;  
Но завтра снова, моды жертва,  
Веселью в ретенье летишь...<sup>9</sup>

Отразилась в романе и ремарка Пушкина насчет «аккуратных немцев» в комедии Н.И. Хмельницкого (отмечено в комментарии В.В. Набокова — С. 172) — ср.:

И хлебник, немец аккуратный,  
В бумажном колпаке не раз  
Уж отворял свой *vasisdas*.

(VI, 20)

Отозвались в первой главе стихи самого Гнедича: в примечаниях будет дана пространная цитата из его идиллии «Рыбаки», предваренная комплиментом: «Читатели помнят прелестное описание петербургской ночи в идиллии Гнедича» (VI, 191–192).

Резонирует в романе упомянутое в письме стихотворение В.К. Кюхельбекера, — ср.:

Мы оба бросили тот свет,  
Где мы равно терзались оба,  
Где клевета, любовь и злоба  
Размучили обоих нас!...<sup>10</sup>

Эта тема развита в строфе XLV:

Условий света сбросив бремя,  
Как он, отстав от суеты,  
С ним подружился я в то время <...>  
Страстей игру мы знали оба,  
Томила жизнь обоих нас,  
Обоих ожидала злоба  
Слепой фортуны и людей  
На самом утре наших дней.

(VI, 23–24)

Такой многослойный пласт онегинских тем и деталей (ср. еще: «в конце письма поставить *vale*» — VI, 7) не может быть случайным.

Недаром поэтому, оформив в Болдине свой роман в составе девяти глав, Пушкин прежде всего вспомнит о Н.И. Гнедиче, создав ряд антологических эпиграмм, и среди них — «На перевод Илиады» и «Труд»:

Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний.

Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?

Или, свой долг совершив, я стою, как поденщик ненужный,

Плату приявши свою, чуждый работе другой?



Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,  
Друга Авроры златой, друга пенатов святых?  
(III, 230)

В последней строке стихотворения откликаются строки онегинской главы, от которых в примечаниях Пушкин отсылает читателей к идиллии Гнедича. В Болдине в черновике «Каменного гостя» появляется и портрет Гнедича.

Все это следы первоначального замысла, мелькнувшего в воображении поэта 9 мая 1823 г. и занявшего впоследствии «много, много дней».

И еще одна трогательная деталь. К письму Гнедичу приложено пушкинское стихотворение «Птичка»:

В чужбине свято наблюдаю  
Родной обычай старины:  
На волю птичку выпускаю  
При светлом празднике весны.  
Я стал доступен утешенью;  
За что на Бога мне роптать,  
Когда хоть одному творенью  
Я мог свободу даровать.  
(III, 280)

Так и кажется, что речь в письме идет не только о птичке, но и о замысле *свободного* романа.

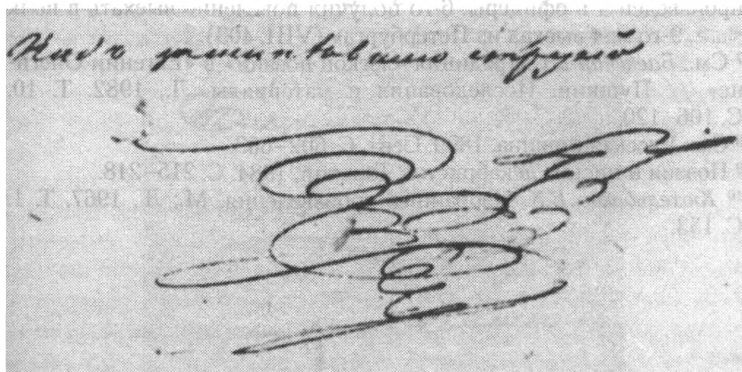


Рисунок летящей птицы (ПД 886, л. 1 об.)



<sup>1</sup> В биографической же Пушкиниане днем его отъезда на юг считается 6 мая 1820 г. — на основании свидетельств современников. «Участь Пушкина решена, — сообщал А.И. Тургенев П.А. Вяземскому 5 мая 1820 г. — Он завтра отправляется курьером к Инзову и останется при нем» (Летопись. Т. 1. С. 181). Но мало ли что могло произойти за день и помешать отъезду в установленный срок! Заметим, что 6 мая 1820 г. отмечался большой церковный праздник, который почитался поэтом особо: на Вознесенье он двадцатью одним годом ранее родился. Вполне возможно, что Пушкин задержал отъезд, чтобы провести этот день с семьей. В любом случае можно не сомневаться, что спустя год он точно помнил время отъезда из Петербурга. Здесь, безусловно, следует довериться не свидетельствам документов и современников, а самому поэту — с его обостренной памятью на значимые даты.

<sup>2</sup> Хорошо всё взвесив (*фр.*).

<sup>3</sup> Я не заслужил / Ни этой чрезмерной чести, ни этого оскорбления (*фр.*).

<sup>4</sup> Прощайте, цензуру же должно уничтожить (*лат.*).

<sup>5</sup> Кишиневский знакомый Пушкина прапорщик Квартирмейстерской части Ф.Н. Лугинин отмечал в дневнике 13 июня 1822 г. (вторник): «...окончил письма, запечатать и отправить завтра»; 8 июля 1822 г. (суббота): «...я писал письма. — Письма эти отправятся в среду» (*Кушниренко В.Ф.* «В стране той отдаленной...» Кишинэу, 1999. Т. 2. С. 147, 177).

<sup>6</sup> Дата отъезда из Петербурга всегда твердо помнилась Пушкину. Едва ли случайно в тот же день он отправил своего героя из наброска повести «Записки молодого человека» (1829): «4 мая 1825 г. произведен я в офицеры, 6-го получил повеление выехать в полк <...>, 9-го мая выехал из Петербурга» (VIII, 403).

<sup>7</sup> См.: *Баевский В.С.* Традиция «легкой поэзии» в «Евгении Онегине» // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1982. Т. 10. С. 106–120.

<sup>8</sup> См.: Русская старина. 1899. Сент. С. 602–603.

<sup>9</sup> Поэзия и письма декабристов. Горький, 1984. С. 215–218.

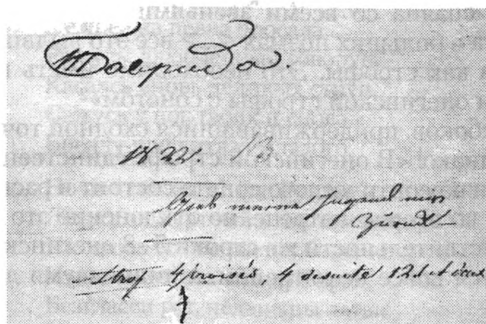
<sup>10</sup> *Кюхельбекер В.К.* Избранные произведения. М.; Л., 1967. Т. 1. С. 153.

## Онегинская строфа

Однако, прежде чем онегинская «грогада двинулась», должна была быть сформирована особая строфа, — тоже своего рода «магический кристалл».

Формулу такой строфы: Strof 4/ croisés, 4 desuite 1. 2. 1 et deus, — Пушкин записывает (как это было выше отмечено) во Второй кишиневской тетради (ПД 832) на л.12, на титульном листе начатой в 1822 г. поэмы «Таврида». Два предыдущих листа из тетради вырваны — возможно, там и производились опыты оригинального строфического эталона. Впрочем, в конце черновика поэмы (на л.18 об.) поэт пытается придать строфическую форму ранее написанным строкам:

Ты помнишь море пред грозою  
Как я завидовал волнам  
Бегущим бурной чередою  
[С любовью] пасть к ее ногам



Формула онегинской строфы (ПД 832, л. 12)

И как желал бы я с волнами  
 Коснуться ног ее устами  
 Нет никогда средь  
 Кипящей младости  
 Нет никогда

(VI, 261)

Анализируя пушкинскую строфику, Б.В. Томашевский заметил: «В обзоре лирических строф Пушкина почти всегда намечалась традиция строфы, ее прикрепленность к определенному жанру, тематике, эмоциональной окраске. Но по отношению к онегинской строфе никакой традиции не обнаружили. Подобной строфы не найдено ни в русской, ни в западной поэзии, предшествующей Пушкину»<sup>1</sup>.

Количественное совпадение строк заставляло предполагать, что онегинская строфа сконструирована по подобию сонета. Л.П. Гроссман по этому поводу рассуждал: «Совершенно очевидно, что онегинская строфа не выдерживает сравнения с классическим типом строгого канонического сонета, например, Петрарки или Эредиа. Но необходимо иметь в виду, что практика сонетного искусства знает немало выявлений той же формы. Сонеты разговорные, шуточные, каламбурные <...>, — все это достаточно показывает, насколько сонетная форма не стеснялась признаками тематики или художественного стиля, а широко охватывала самые разнообразные задания и жанры.

При этом сонет далеко не всегда являл тенденции к изолированной замкнутости в своей композиции. Группировка сонетов в циклы, форма венка сонетов, где каждая часть органически спаяна со всеми звеньями цепи, строфическая роль сонета в больших поэмах <...> все это выдвигает значение сонета как строфы. Это необходимо иметь в виду при сближении онегинской строфы с сонетом»<sup>2</sup>.

В.В. Набоков, придерживавшийся сходной точки зрения, отмечал однако: «В онегинской строфе единственное отклонение от анакреонтического сонета состоит в расположении рифм есс во втором катрене, но отклонение это решающее <...> В действительности же строки 5–8 онегинской строфы оказываются вовсе не катреном, а лишь двумя двустишиями»<sup>3</sup>.

Делались попытки сблизить онегинскую строфу с октавой. Н.С. Поспелов, в частности, утверждал, что «строфа эта

генетически идет от октавы, от октавы Байрона, представляя собой дальнейшую разработку ее»<sup>4</sup>.

Иную генеалогию онегинской строфы наметил А.П. Квятковский: «На изобретение строфы Пушкина натолкнуло, возможно, одическое стихотворение Г. Державина “На новый 1797 год”, состоящее из трех циклов; в каждом цикле первая строфа состоит из 10 стихов, следующие за ней три строфы содержат в себе по 14 стихов. Державинская 14-стишная строфа состоит из четырех частей: четверостишие с перекрестными рифмами, двустишие со смежными рифмами, четверостишие с перекрестными рифмами и заключительное четверостишие с охватными (опоясанными) рифмами»<sup>5</sup>.

Может показаться, что, последовательно применив в своей строфе три типа разных рифмовок, Пушкин ориентировался вовсе не на какой-либо строфический эталон, а на астрофичные стихотворные произведения с неупорядоченными клаузулами. В таком более или менее просторном тексте время от времени могли спонтанно возникать фрагменты, в которых появлялся порядок рифм, закрепленный автором «Евгения Онегина» для своей строфы<sup>6</sup>. Но надо признать, что подобные случаи очень редки: так, около трех тысяч стихов в поэме «Руслан и Людмила» («Евгений Онегин» лишь вдвое ее просторнее) содержит лишь три фрагмента с «предонегинскими» рифмовками, два из которых — с обратной (по сравнению с онегинской строфой) последовательностью женских и мужских клаузул. Ср., например:

Ты, слушая мой легкий вздор,  
С улыбкой иногда дремала;  
Но иногда свой нежный взор  
Нежнее на певца бросала...  
Решусь: влюбленный говорун,  
Касаясь вновь ленивых струн,  
Сажусь у ног твоих и снова  
Бренчу про витязя молодого.

Но что сказал я? Где Руслан?  
Лежит он мертвый в чистом поле;  
Уж кровь его не льется боле,  
Над ним летает жадный вран,  
Безгласен рог, недвижны латы,  
Не шевелится шлем косматый!

(IV, 75–76)<sup>7</sup>

Подобные, хотя и редкие, совпадения по-своему подчеркивают простоту и естественность онегинской строфы, имеющей тем не менее давно укоренившийся в русской поэзии аналог.

Анализ черновика первой строфы романа оставляет впечатление, что такой строфический эталон автору был ясен заранее, до 28 мая 1823 г. В нижнем слое рукописи (ПД 834, л. 4 об.) первоначальных строк нетрудно обнаружить запись (крупным уверенным почерком) «скелета» намеченной строфы, перебеленной с не дошедшего до нас черновика:

Мой дядя самых честных правил  
Он лучше выдумать не мог  
Он уважать себя заставил  
Когда не в шутку занемог

Но боже мой какая мука  
С больным сидеть и день и ночь  
Не отходя ни шагу прочь  
Какое глупое коварство  
Вздыхать печалиться над ним

Как глупо  
Как глупо черт бы взял тебя

Здесь отсутствуют строки 5 и 11–12, но общий рисунок строфы вполне определен. При окончательной отделке черновика второе четверостишие приобрело — без промежуточных вариантов — парные рифмовки. Очевидно, Пушкину это было ясно с самого начала. Строфа, подытоженная знаком концовки, приобрела такой вид:

Мой дядя самых честных правил  
Когда не в шутку занемог  
Он уважать себя заставил  
И лучше выдумать не мог  
Его пример [и мне] наука —  
Но боже мой какая скука  
Над ним сидеть и день и ночь  
Не отходя ни шагу прочь  
Какое скучное коварство  
Больного дядю [забавлять]  
Ему подушки поправлять  
Печально подносить лекарство

Вздыхать и думать про себя  
Ну скоро ль черт возьмет тебя —

Едва ли правомерно связывать пушкинский строфический «замысел» с конкретным, далеко не лучшим державинским стихотворением. И все же А.П. Квятковский в своей догадке был близок к истине, хотя чисто количественную меру строк, замеченную им, также нельзя признать существенной.

В самом деле, что из себя представляет найденный исследователем державинский 14-строчник? В сущности, здесь была модернизирована одическая строфа, в середину которой добавлено второе четверостишие с перекрестной рифмовкой. По тому же пути, наверное, шел в своем поиске и Пушкин, определивший в тетради ПД 832 формулу изобретенной им строфы: три четверостишия с перекрестной, парными, охватной рифмовками и кодой-двустиишем. В основе этой формулы — та же одическая строфа, которая сама по себе издавна была апробирована во множестве произведений достаточно большого объема<sup>8</sup>.

Для наглядности процитируем ломоносовскую «Оду на день восшествия на престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1748 года», которую прямо вспомнит в своем романе Пушкин:

Заря багряною рукою  
От утренних спокойных вод  
Выводит с солнцем за собою  
Твоей державы новый год.  
Благославленное начало  
Тебе, богиня, воссияло.  
И наших искренность сердец  
Пред троном вышнего пылает  
Да счастьем твоим венчает  
Его средину и конец<sup>9</sup>.

Здесь использованы все обычные сочетания рифм: перекрестная, парная, охватная — в том же порядке, что и в онегинской строфе. Но в полном соответствии с русской просодией (подразумевающей чередование мужских и женских рифм) Пушкин вместо одной парной рифмовки в середине строфы использует две: первую с женскими, а вторую с мужскими клаузулами — и подводит ритмический итог энергичным двустиишем.

О сходстве онегинской и одической строф писал В.В. Набоков, возводя, правда, и ту и другую к сонету: «Обе строфы — французская одическая и онегинская — родственницы сонета. По форме четырнадцатистрочная онегинская строфа выше талии совпадает с французской одической строфой (в обоих сходная рифмовка первых семи стихов). Онегинская строфа, можно сказать, наполовину ода, наполовину сонет. Мы могли бы назвать ее строфой-русалкой. Хвост ее рифмуется ciddiff, одическая же строфа ниже талии — iic»<sup>10</sup>.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что, формируя свою строфу, Пушкин учитывал опыт трех главных классических строф: сонета, октавы, оды, — но прежде всего, на наш взгляд, отталкивался все же от одической строфы, давно прижившейся в русской литературе. Недаром, как это уже было отмечено, мысль об особой строфе возникла у Пушкина в ходе работы над поэмой «Таврида», в которой откликалась державинская ода «Бог».

Казалось бы, одическая строфа с ее торжественной эмоциональной окраской была мало приспособлена к самому задушевному, по определению В.Г. Белинского, произведению Пушкина. Но уже в поэзии Г.Р. Державина эта традиционная строфа стала насыщаться качественно новой тематикой. Достаточно вспомнить его стихотворения «К первому соседу», «Фелица», «Приглашение к обеду», «Гром», «Крестьянский праздник», «Аристиппова баня». Державину же принадлежат и многочисленные опыты по реформированию одической строфы. Наиболее близок он к пушкинскому роману в стихах в строфическом строении стихотворения «Афинейскому витязю» (1796) — ср.:

Тогда не прихоть чли — закон;  
Лишь благу общему радели;  
Той подлой мысли не имели,  
Чтоб только свой набить мамон.  
Венцы стяжали, звуки славы,  
А деньги берегли и нравы,  
А всякую свою ступень  
Не оценили каждый день;  
Хоть был и недруг кто друг другу, —  
Усердие вело — не месть;  
Умели чтить в других заслугу  
И отдавать достойным честь<sup>11</sup>.



Это как бы перевернутая «онегинская» строфа, без коды:  
*аББаВВггДеДе.*

Тяготение онегинской строфы к одической достаточно наглядно доказывается «необязательностью» второго двустишия с парной рифмовкой и заключительной коды, без которых строфа в «Евгении Онегине» поначалу, как правило, сохраняет смысл и стройную грамматическую форму. Из пятидесяти шести строф первой главы<sup>12</sup> таких — большая часть, например:

Когда же юности мятежной  
Пришла Евгения пора,  
Пора надежд и грусти нежной,  
*Monsieur* прогнали со двора.  
Вот мой Онегин на свободе;  
Острижен по последней моде

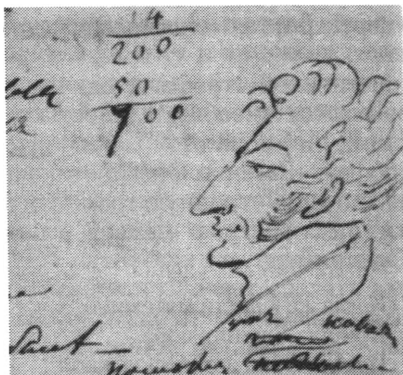
<...>

Он по-французски совершенно  
Мог объясняться и писал;  
Легко мазурку танцевал  
И кланялся непринужденно

(VI, 6–7)

Державинские опыты с одической строфой были продолжены и другими русскими поэтами. И именно на этом пути была обнаружена<sup>13</sup> первая предшественница «онегинской строфы» — у кн. П.И. Шаликова в его одических «Стихах его величеству государю императору Александру Первому на бессмертную победу под стенами Лейпцига в октябре 1813 года». Приведем лишь одну (всего их шесть) строфу из этой оды:

Сошлись бесчисленны полки;  
Гортани медны заревели;  
От каждой сто смертей руки;  
Сердца свирепостью кипели —  
Одни за Бога, за царей;  
Другие за кумир страстей —  
Земля стонала, небо тмилось  
Иль страшным заревом багрилось;  
Текла реками черна кровь —  
По них неслися трупов горы;  
С явленьем утренней Авроры  
И до ея господства вновь



Портрет кн. П.И. Шаликова  
(ПД 834, л. 20)

Не прерывалась адска сеча,  
Сей день в веках увековеча!<sup>14</sup>

Здесь та же метрическая схема, которую спустя десять лет заново найдет Пушкин (с иной, правда, последовательностью мужских и женских рифм): *аБаБввГТдЕЕдЖЖ*.



<sup>1</sup> Томашевский Б.В. Строфика Пушкина // Томашевский Б.В. Пушкин. Работы разных лет. М., 1990. С. 389.

<sup>2</sup> Гроссман Л.П. Онегинская строфа // Гроссман Л.П. Собр. соч. М., 1928. Т. 1. С. 130–131.

<sup>3</sup> Набоков В.В. Комментарий. С. 40. Дж. Т. Шоу считает, что «вполне правомерно говорить об онегинской строфе, даже не упоминая об английском сонете» (Шоу Дж. Т. Поэтика неожиданного у Пушкина. М., 2002. С. 334). Оригинальная интерпретация «сонетной формы» романа («...лучше всего онегинскую строфу можно определить как *диссимуляцию сонета*») предложена в статье С. Евдокимовой и В. Гольштейна «Эстетика дендизма в «Евгении Онегине»» (Пушкин и мировая культура: Материалы шестой международной конференции. СПб.; Симферополь, 2003. С. 83–85).

<sup>4</sup> Поспелов Н.С. «Евгений Онегин» как реалистический роман // Пушкин: Сб. статей / Под ред. А.М. Еголина. М., 1941. С. 154. В подтверждение этого тезиса можно напомнить, что начало онегинской строфы метрически совпадает с «русской октавой», предложенной Катениным (см.: Эткинд Е. Русские поэты-переводчики

от Третьяковского до Пушкина. Л., 1973. С. 158). Тот же порядок рифм — в «Оде, выбранной из Иова» М.В. Ломоносова («О ты, что в горести напрасной...»).

<sup>5</sup> Квятковский А. Поэтический словарь. М., 1966. С. 185.

<sup>6</sup> См.: Набоков В.В. Комментарий. С. 38–41; Илюшин А.А. Русское стихосложение. М., 1988. С. 147–154.

<sup>7</sup> Любопытно, что намеченная посреди этого фрагмента пауза предвосхищает мелодику онегинской строфы: «Строфическая система, созданная Пушкиным в «Евгении Онегине», поддается классическому принципу тройственного членения. Здесь различается восходящая часть (Aufgesang), нисходящая (Abdesang) и самостоятельная кода <...> Восходящая часть состоит из двух четверостиший <...> Этот закон внутренней паузы, установленный французскими классиками XVIII столетия (Malherbe), часто не соблюдался впоследствии. Не всегда он соблюден и у Пушкина, довольно свободно двигавшего партии своего рассказа внутри строфы. Тем не менее пауза после второго четверостишия может считаться достаточно типичной» (Гроссман Л.П. Онегинская строфа. С. 121–122). См. также: Гринбаум О.Н. Гармония строфического ритма в эстетико-формальном измерении (на материале «Онегинской строфы» и русского сонета). СПб., 2000; Строганов М.В. Строфа // Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: Материалы к энциклопедии. Ч. 2. Тверь, 2002. С. 178–184.

<sup>8</sup> См.: Никишов Ю.М. Онегинская строфа: источник и поэтика // Филологические науки. 1992. № 2. С. 11–19. Что касается самого Пушкина, то он пользовался одической строфой в пародийной «Оде его сиятельству гр. Дм. Ив. Хвостову» (1825) и в «Бородинской годовщине» (1831). Тем замечательнее указанное Б.В. Томашевским использование этой строфы во втором «Подражании Корану» («О жены чистого пророка...») (1825).

<sup>9</sup> Ломоносов М.В. Избр. произведения. Л., 1986. Т. 2. С. 121. Возможно, одновременно Пушкин вспомнил и барковскую перелицовку столь возвышенных строк — ср.: «Уже зари багряный путь / Открылся дремлющим зеницам. / Зефир прохладный начал дуть / Под юбки бабам и девицам...» («Летите, грусти и печали...»: Неподцензурная русская поэзия XVIII — XIX вв. М., 1992. С. 16).

<sup>10</sup> Набоков В.В. Комментарий. С. 367–369.

<sup>11</sup> Державин Г.Р. Стихотворения. С. 98.

<sup>12</sup> Однако уже во второй главе романа подобных строф значительно меньше (9 из 40), что, на наш взгляд, свидетельствует о постепенном преодолении в романе типично одической мелодики.

<sup>13</sup> См.: Сперантов В. Был ли кн. Шаликов изобретателем онегинской строфы? // Philologica. 1999. № 3.

<sup>14</sup> Вестник Европы. 1813. Ч. 72. № 23–24. С. 243. Не вызывает сомнения тот факт, что в лицейские годы Пушкин внимательно читал

журнал «Вестник Европы». Но едва ли, конечно, он хранил в памяти беспомощную шаликовскую оду, приступая к своему роману в стихах. Нельзя, впрочем, не отметить, что, заканчивая в октябре 1823 г. первую главу «Евгения Онегина», Пушкин вспомнил о Шаликове, портрет которого запечатлен в рабочей тетради ПД 834 (л. 20) рядом с подсчетом онегинских строк, написанных к этому времени. Второй раз Пушкин зарисовал Шаликова в 1829 г. в Ушаковском альбоме (ПД 1723, л. 78 об.; см. факсимильное издание альбома — СПб., 1999) и в том же году написал стихотворение «Зимнее утро», где, так и кажется, отозвалось «нечто» из Шаликова:

Навстречу северной Авроры  
Звездою Севера явись! <...>  
Вечор ты помнишь: вьюга злилась,  
На мутном небе мгла носилась...

(III, 183)

В эту пору Пушкин уже был знаком с Шаликовым и нередко с ним встречался. Не напомнил ли князь, глубоко почитавший Пушкина, о своем «приоритете» в открытии онегинской строфы? ...Бывают странные сближенья!

## «В роде Дон-Жуана...»

*В* творческой истории романа в стихах давно отмечено одно странное обстоятельство: до нас не дошло общего плана этого произведения. Казалось бы, такой план непременно должен был быть у поэта. Иначе как удалось ему, посвятившему работе над романом долгие годы, прерывавшему ее неоднократно на длительные сроки и отвлекавшемуся на множество других замыслов, — не потерять из виду общую перспективу повествования, свести концы с концами?

Существует стойкое представление, что работу над новым замыслом Пушкин непременно начинал с выработки плана.

«Пушкин неизменно считал, — пишет Д.Д. Благой, — что только наличие предварительного, четко осознанного, строго продуманного и твердо осуществленного плана — своего рода архитектурного проекта будущего здания — способно обеспечить какому бы то ни было произведению искусства слова, будь то небольшое стихотворение или поэма, пьеса, роман, подлинную и совершенную художественность»<sup>1</sup>.

Призывая рассматривать планы Пушкина не только как наброски художественного произведения, а как существенную фазу художественного мышления (с этим следует согласиться!), Б.С. Мейлах столь же жестко констатировал: «Всё возрастающее значение, которое придавал им (планам. — С.Ф.) Пушкин, можно объяснить эволюцией творческого метода, все в большей степени сочетавшего глубину обобщений с четкостью образов и строгой композиционной формой, его осознанной целенаправленностью, не терпевшей длиннот, немотивированных вторжений лишних для сюжета линий»<sup>2</sup>.

Подобные утверждения, казалось бы, зиждятся на теоретических тезисах Пушкина. «Есть высшая смелость, — замечал он, — смелость изобретения, создания, когда план об-

ширный объемлетя творческой мыслию» (XI, 61). Отсюда его оценка создания Данте: «...единый план Ада есть уже плод высокого гения» (XI, 42).

С другой стороны, понятны претензии Пушкина к «планщику» К.Ф. Рылееву:

«Что тебе сказать о думах? Во всех встречаются стихи живые <...> Но вообще все они слабы изобретением и изложением. Все они на один покрой: составлены из *общих мест* (Loci topici). Описание места действия, речь героя и — нравоучение» (XIII, 175). Впрочем, кажется, это замечание относится только к стихам (ср. выпад в адрес того же Рылеева: «Я, право, более люблю стихи без плана, чем план без стихов» — XIII, 245). Для повествовательных же жанров Пушкин готов признать возможность использования старых образцов.

«Умный человек, — рассуждает героиня «Романа в письмах», — мог бы взять готовый план, готовые характеры, исправить слог и бессмыслицы, дополнить недомолвки — и вышел бы прекрасный, оригинальный роман» (VIII, 50). Думается, это размышление отчасти не чуждо творческой практике самого Пушкина. В любом случае, он стремился к строгой архитектонике произведения и потому осуждал «лирический беспорядок», «детский план» Байронова «Корсара», «беспомощный план» «Федры» Расина, недостаток плана в «Горе от ума». Впрочем, и о своих произведениях Пушкин подчас отзывался не лучше, замечая, например, о «Кавказском пленнике»: «Простота плана близко подходит к бедности изобретения» (XIII, 371), а «Бахчисарайский фонтан» вообще постоянно называя «бессвязными отрывками» (XIII, 73, 75).

Нетрудно заметить, что Пушкин часто употреблял слово «план» в значении «общей мысли» произведения — замысла, охватывающего и связывающего воедино все его элементы, а вовсе не как обязательный предварительный конспект будущего сочинения. В конце первой главы «Евгения Онегина» он скажет:

Я думал уж о форме плана,  
И как героя назову;  
Покаместь моего романа  
Я кончил первую главу:  
Пересмотрел всё очень строго;  
Противоречий очень много,  
Но их исправить не хочу...

(VI, 30)

Такая «форма плана», перспектива замысла (постоянно меняющегося, впрочем) у Пушкина, конечно, была на каждом этапе труда над текстом романа, но (за единственным исключением!) он не фиксировал ее на бумаге.

Вообще-то Пушкин предварительно обдумывал свои произведения, как правило, в деталях. И все же фиксированный конспект замысла подчас ему не был нужен. Не случайно до нас не дошли, например, планы его произведений, восходящих к избранным им литературным образцам («Сказка о рыбаке и рыбке», «Анджело», «Сказка о Золотом петушке» и т.п.); необходимые изменения в сюжетных коллизиях здесь намечались, очевидно, уже при чтении чужого произведения или в свободном процессе его переработки. И потому вряд ли можно согласиться с И.М. Дьяконовым, который уверенно заключает: «Поэт, от которого до нас дошли планы и предварительные записи почти всех поэм, драм, повестей, даже для некоторых лирических стихотворений, не мог сделать исключения для своего главного “постоянного” труда и начать его без ясного плана, без продуманного замысла от завязки до развязки. То обстоятельство, что план этот до нас не дошел, следует отнести к числу случайностей»<sup>3</sup>.

Замысел в данном случае осмысливается как мгновенный творческий импульс-озарение, который обязательно фиксируется предварительным, в деталях продуманным планом. В творческой же истории «Евгения Онегина» замысел был не вспышкой, а горением, длившимся на протяжении всей работы над романом.

Существует давно обратившее на себя внимание исследователей противоречие в пушкинских оценках своего романа в стихах. «Что касается моих занятий, — сообщал он П.А. Вяземскому 4 ноября 1823 г., уже написав первую онегинскую главу, — я теперь пишу не роман, а роман в стихах — дьявольская разница! В роде Дон-Жуана — о печати и думать нечего; пишу спустя рукава» (XIII, 73). А через полтора года он решительно возражал А.А. Бестужеву по поводу той же первой главы: «Ты сравниваешь первую главу с Д<он>-Ж<уаном>. Никто более меня не уважает Д<он>-Жуана (первые 5 песен, других не читал), но в нем ничего нет общего с Онег<иним>. Ты говоришь о сатире англичанина Байрона и сравниваешь ее с моею, и требуешь от меня таковой же! Нет, душа моя, многого хочешь. Где у меня сатира? О ней и помина нет в Ев<гении> Он<егине>. У меня бы затрещала бы набереж-

ная, если б я коснулся сатиры. — Самое слово сатирический не должно находиться в предисловии. Дождись других песен... Ах! Если бы тебя заманить в Михайловское!.. ты увидишь, что если уж и сравнивать Онегина с Дон-Жуаном, то разве в одном отношении: кто милее и прелестнее (gracieuse) — Татьяна или Юлия? 1-ая песнь быстрое введение, и я им доволен (что редко со мною случается)...» (XIII, 155).

«Ничего общего» — это, конечно же, сказано слишком категорично. Понятно, что и равноправие автора с героем в романе Пушкина, и строфическая организация произведения генетически связаны с «Дон-Жуаном», при всем своеобразии лирической темы и собственно строфы у русского поэта. Полное же несходство сюжетных решений у Байрона и Пушкина кажется несомненным. «Таким образом, — завершает сравнительный анализ современный исследователь, — хотя и “Дон-Жуан”, и “Евгений Онегин” являются “романами в стихах” XIX в., они представляют разные виды романов — социально-психологический роман и роман-хронику»<sup>4</sup>. Иначе судит об этом В. Викери: «Именно общее очертание сюжета “Евгения Онегина” и, в частности, пушкинское ограничение сюжета одним эпизодом и своей собственной страной позволило комментаторам настаивать на том, что “Евгений Онегин” истинно “роман в стихах”, первый подлинный русский роман, в реалистической традиции Тургенева и Толстого — и поэтому по существу отличен по жанру от “Дон-Жуана”. Несмотря на все это, мы смеем утверждать, что различие между двумя произведениями не столь фундаментально, как может показаться на первый взгляд: 1) байроновский “Дон Жуан” содержит след смещения плутовской традиции к тому фону, который в некоторой степени сходен с “Евгением Онегиным”; 2) метод, при помощи которого “Евгений Онегин” осуществляет свое эстетическое влияние, более сходен с байроновским методом, нежели у Руссо или Бенжамена Константа, не говоря уж о Тургеневе и Толстом»<sup>5</sup>.

Для доказательства этого тезиса В. Викери сравнивает роман Пушкина с «английскими» (начиная с одиннадцатой) главами «Дон-Жуана», обнаруживая в них искомое подобие. Однако, как мы помним, замышляя свое произведение, Пушкин еще не знал этих глав и мог ориентироваться лишь на сюжет романа-путешествия (увлечение на родине Джулией (Юлией), кораблекрушение и встреча с Гаиде на греческом острове пиратов, происшествия в турецком гареме), ко-



торый открылся ему в первых пяти главах «Дон-Жуана». Но с такими перипетиями в романе Пушкина действительно нет ничего общего.

И все же...

Среди байроновских реминисценций (а их здесь немало!) в первой онегинской главе появляется следующая:

«...Сладко слушать в полночь среди синих и освещенных луною волн Адриатики пение гондольера и удары его весел, смягченные отдалением; сладко смотреть на восхождение вечерней звезды, сладко любоваться в выси на радугу, выступающую из океана и охватывающую небо»<sup>6</sup>.

Эта строфа, написанная в Бренте, рождает отклик в пушкинском романе:

Адриатические волны,  
О Брента! нет, увижу вас,  
И, вдохновенья снова полный,  
Услышу ваш волшебный глас!  
Он свят для внуков Аполлона;  
По гордой лире Альбиона  
Он мне знаком, он мне родной.  
Ночей Италии златой  
Я негой наслажусь на воле  
С венецианкой молодой,  
Плывя в таинственной гандоле;  
С ней обретут уста мои  
Язык Петрарки и любви.

(VI, 25)

Комментируя текст, Ю.М. Лотман замечает: «Строфы посвящены планам побега за границу, обдумывавшимся Пушкиным в Одессе <...> Маршрут, намеченный в XLIX строфе, близок к маршруту Чайльд-Гарольда, но повторяет его в противоположном направлении»<sup>7</sup>.

Чайльд-Гарольда комментатор вспоминает не случайно. И в первой, и в других главах (см.: 1, XXXVIII; 4, XLIV; 8, VIII) герой пушкинского романа психологически впрямую сближен именно с этим героем Байрона, но отнюдь не с его Дон-Жуаном, который (по крайней мере, вначале) предстает естественным человеком, полным сил и энергии, ни в коей мере не подверженным сплину, разочарованию в жизни. Такую духовную болезнь, вслед за автором «Паломничества Чайльд-Гарольда», Пушкин обнаруживает и исследует в ха-

рактуре своего главного героя, ему, однако, не уподобляясь. Герой скучает в театре, а автору памятно иное время:

Волшебный край! Там в стары годы  
Сатиры смелый властелин,  
Блистал Фонвизин, друг свободы,  
И переимчивый Княжнин...

(VI, 12)

Герой зеваает, глядя на сцену, — а взор автора устремляется к театральному подъезду, где «усталые лакеи на шубах <...> спят», где «кучера вокруг огней бранят господ и бьют в ладони».

Герой дремлет в карете, а автор видит трудовое утро столицы, неведомое и неинтересное Онегину.

Может быть, именно психологическое несходство как заглавных героев байроновского и пушкинского романов в стихах, так равно и авторских позиций затемняло несомненное отправное подобие пушкинского замысла, с самого начала ориентированного все же на роман Байрона («в роде Дон-Жуана»).

Задуманный в третью годовщину ссылки, роман, по-видимому, осмыслялся Пушкиным как своеобразный прогноз. В первой главе, отнесенной к 1819 г., можно отметить некий психологический анахронизм. Пушкин здесь утверждает, что мысль о побеге за границу возникла у него еще в Петербурге, до ссылки. Но было иначе<sup>8</sup>. Лишь в Кишиневе, сделав попытку возвратиться в столицу и получив отказ, поэт все-раз начинает обдумывать возможность отъезда из России. Он понимает, что для осуществления такого предприятия необходимо время. И потому начинает свой роман без предварительного плана, так как сюжет должен был сложиться в ходе осуществления жизненного замысла. Первое же фабульное любовное приключение герой должен был пока пережить на родине. Впрочем, так обстояло дело и в «Дон-Жуане», да и в этом романе Пушкин, еще не подозревая о грядущей собственной ссылке в деревню, мог почерпнуть мотив, который ему предстояло самостоятельно развить:

«Сладко наследство, и еще слаще нежданная смерть какой-нибудь старухи или старика, которым перевалило за семьдесят и которые заставляли нас, “молодежь”, ждать... ждать слишком долго их поместья, капитала или замка» (1, 122).

Но скоро были мы судьбою  
На долгий срок разведены

(VI, 27), —

заметит поэт в первой главе, обрисовывая во второй — обстановку поместной жизни Онегина, но не теряя из виду основной цели на ближайшее будущее. Уже перебравшись для этого в Одессу, он обдумывает в январе 1824 г.:

«Осталось одно — писать прямо на его имя — такому-то, в Зимнем дворце, что против Петропавловской крепости, не то взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь. Святая Русь мне становится невтерпеж» (XIII, 85–86).

О том же замысле Пушкин вспоминал, прощаясь с Одессой в конце июля 1824 г., в стихотворении «К морю»:

Не удалось навек оставить  
Мне скучный неподвижный брег,  
Тебя восторгами поздравить  
И по хребтам твоим направить  
*Мой поэтический побег.*

(II, 332; курсив наш. — С.Ф.)

Проследивая возникновение у Пушкина мысли о побеге за границу, М.А. Цявловский так оценивает это стихотворение: «Не только любовь к женщине не позволила Пушкину осуществить “поэтический побег”. Была и другая причина — прозаическая — безденежье, в котором он пребывал в Одессе. “Живя поэтом — без дров зимой, без дрожек летом”, мог ли Пушкин серьезно думать о путешествии в Италию (XLIX строфа 1-й главы “Евгения Онегина”), Константинополь (письмо к брату), Африку (L строфа 1-й главы “Евгения Онегина”)? Все это были романтические мечты, отголоски увлечения Байроном»<sup>9</sup>.

Серьезность намерений Пушкина в одесский период жизни здесь поставлена под сомнение, и тем самым «отголоски увлечения Байроном» не связываются с движением замысла романа «Евгений Онегин». А между тем точное пушкинское определение «поэтический побег», думается, напрямую связано с первоначальным «планом» романа в стихах, действие которого предполагалось перенести на просторы Европы.

Надежда на это долго не оставляла Пушкина на протяжении работы над «самым душевным» произведением. Недаром в 1836 г., как об этом уже упоминалось, он, мысленно перебирая крымские впечатления 1820 г., писал: «Там колыбель моего Онегина» (XVI, 395). Ведь именно тогда

в воображении ссыльного Пушкина впервые возникла мысль о «поэтическом побеге»:

Лети, корабль, неси меня к пределам дальным  
 По грозной прихоти обманчивых морей,  
 Но только не к берегам печальным  
 Туманной родины моей <...>  
 Искатель новых впечатлений,  
 Я вас бежал, отечески края;  
 Я вас бежал, питомцы наслаждений,  
 Минутной младости минутные друзья...  
 (II, 146–147)

Достаточно сравнить эти строки со строфами XLIX–LI первой главы романа, чтобы обнаружить в них зерно того же замысла («колыбель» «Онегина»). Но тональность этих строк в романе предвосхищает скорее онегинское умунастроение, чем авторское.

В начале 1825 г. Пушкин в письме к А.А. Бестужеву вроде бы склонен начисто отрицать связь «Евгения Онегина» с «Дон-Жуаном». Но перечитаем внимательно это письмо. Во-первых, Пушкин предлагает приятелю сравнить, «кто милее и прелестнее — Татьяна или Юлия», — тем самым признает род соревнования с английским поэтом. А главное, предупреждает придирчивого критика: «Дождись других песен».

В печать первая глава была отправлена уже из Михайловского в конце октября 1824 г. «Беспечно и радостно, — писал Пушкин П.А. Плетневу, — полагаюсь на тебя в отношении моего “Евгения Онегина”! — Созови мой Ареопаг; ты, Жуковский, Гнедич и Дельвиг — от вас ожидаю суда и с покорностью приму его решение...» (XIII, 113).

Еще не дождавшись «суда Ареопага», вдогонку рукописи Пушкин посылает намеченный им самим рисунок, где изображены Евгений Онегин и Поэт — на набережной Невы, на фоне Петропавловской крепости и судна под парусом, направляющегося к устью реки — к «Балтийским волнам».

«Брат, вот тебе картинка для “Онегина”, — пишет поэт, — найди искусный и быстрый карандаш.

Если и будет другая, так чтоб все в том же положении. Та же сцена, слышишь ли? Это мне нужно непременно». На «картинке» Пушкин помечает цифрами все объекты и дает пояснения: «1 < Поэт > хорош — 2 < Онегин > должен быть оперишься на гранит, 3 лодка; 4 крепость Петропавловская» (XIII, 120).

Картинка эта должна была иллюстрировать следующие строфы, в которых таился ключ к замыслу романа:

С душою, полной сожалений,  
И опершись на гранит  
Стоял задумчиво Евгений,  
Как описал себя пиит.  
Все было тихо; лишь ночные  
Переключались часовые,  
Да дροжек отдаленный стук  
С Мильонной раздавался вдруг;  
Лишь лодка, веслами махая,  
Плыла по дремлющей реке:  
И нас пленяли вдалеке  
Рожок и песня удалая  
<...>

Придет ли час моей свободы?  
Пора, пора! — взываю к ней;  
Брожу над морем, жду погоды,  
Маню ветрила кораблей.



Картинка для Онегина (ПД 1261, л. 34)

Под ризой бурь, с волнами спора,  
 По вольному распутью моря  
 Когда начну я вольный бег?  
 Пора оставить скучный брег  
 Мне неприязненной стихии  
 И средь полуденных зыбей,  
 Под небом Африки моей,  
 Вдыхать о сумрачной России.  
 Где я страдал, где я любил.  
 Где сердце я похоронил...

(VI, 25–26)



<sup>1</sup> *Благой Д.Д.* Мастерство Пушкина. М., 1955. С. 73.

<sup>2</sup> *Мейлах Б.С.* Художественное мышление Пушкина как творческий процесс. М.; Л., 1962. С. 190.

<sup>3</sup> *Дьяконов И.М.* Об истории замысла «Евгения Онегина» // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 10. С. 78.

<sup>4</sup> *Беликова А.В.* «Евгений Онегин» А.С.Пушкина и «Дон-Жуан» Байрона — романы в стихах // Вестник МГУ. Филология. 1982. № 2. С. 78.

<sup>5</sup> *Vicery W.N.* Byron's «Don-Juan» and Pushkin's «Evgenij Onegin»: the Question of Parallelism // *Indian Slavic Studies*. 1967. V. 4. P. 183.

<sup>6</sup> *Байрон Дж.-Г.* Полн. собр. соч. СПб., 1894. Т. 5. С. 26. В дальнейшем «Дон-Жуан» будет цитироваться по этому изданию с указанием в скобках номеров песен и строф цитируемого текста.

<sup>7</sup> *Лотман Ю.М.* Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий // Пушкин А.С. Собр. соч. СПб., 1994. Т. 3. С. 326.

<sup>8</sup> «Встречающиеся в литературе, — утверждает Ю. Дружников, — мысли о том, что желание выехать за границу возникает у Пушкина лишь в ссылке, не соответствуют истине» (*Дружников Ю.* Узник России: По следам неизвестного Пушкина. Коннектикут, 1992. С. 37). Столь сенсационное «открытие» автор делает, произвольно толкуя единственно найденное им в мемуарной литературе признание Пушкина при знакомстве с П.А. Катениным летом 1817 г. о том, что «он вскоре отъезжает в чужие края» (см.: Пушкин в воспоминаниях современников. СПб., 1998. Т. 1. С. 180). Но хорошо известно, что «чужие края» здесь всего-навсего Михайловское, которое поэт действительно впервые посетил вскоре после окончания Лицея.

<sup>9</sup> *Цявловский М.А.* Тоска по чужбине у Пушкина // Цявловский М.А. Статьи о Пушкине. М., 1962. С. 132.

## «Деревня, где скучал Евгений...»

Поездка героя в деревню, в унаследованное им поместье была обозначена в самом начале романа. Ясно, что там столичный денди должен был почувствовать все тяготы деревенской скуки (об этом было сказано уже в конце первой главы). Но в сельской жизни его должно было произойти какое-то событие, и необходимо было поэтому сначала наметить обстановку и участников действия. Так и начата была в конце октября 1823 г. в Одессе вторая глава (сразу же по окончании первой):

Деревня, где скучал Евгений,  
Была прелестный уголок,  
Где друг невинных наслаждений  
Благославить бы небо мог...  
(VI, 310)

Собственно, уже здесь был заявлен протагонист героя — «друг невинных наслаждений», который вскоре получит имя Ленского<sup>1</sup>. Он должен был выделяться из среды поместных обывателей и каким-то образом быть близок по духу главному герою (иначе как бы мог завязаться узел событий?). Это совпадение (при всей противоположности характеров) получило выражение в созвучии фамилий: Онегин — Ленский, — в которых откликнулись не только сходные топонимы, но и характерологические доминанты: нега — лень (в данном случае, конечно, особая, поэтическая). Как и главный герой, протагонист нес в себе некоторые авторские черты, которые Пушкин в равной степени в себе преодолевал (наряду с демоническим скепсисом и поэтическое простодушие).



Портреты гр. Ф.И. Толстого и П.Я. Чаадаева  
(ПД 834, л. 26)

Нечто личное не могло, в остранинном виде, не прорваться и в характеристике Ленского, — например, в таком пассаже:

Он верил, что друзья готовы  
За честь его принять оковы  
И что не дрогнет их рука  
Разбить сосуд клеветника.

(VI, 34)

Над этой строфой Пушкин работает на л. 26 Первой масонской тетради (ПД 834), а на обороте того же листа появляется портрет графа Федора Толстого (Американца), который некогда распустил по петербургским гостиним порозящий поэта слух о том, что его якобы перед ссылкой высекли в полиции. Ф.И. Толстой был задет Пушкиным в послании к П.Я. Чаадаеву (1820), на что ответил поэту грубой эпиграммой. Эта история несколько раз откликалась в пушкинской переписке.

Среди строф (многие из которых в окончательный текст романа не вошли), посвященных общению двух героев и авторским отступлениям по поводу их, следует отметить ту, которая прописана в тетради ПД 834 на л. 31 об.:

Но добрый юноша готовый  
Высокий подвиг совершить,



Не будет в гордости суровой  
Стихи жестокие <?> твердить  
Но праведник изнеможенный  
К цепям неправдой присужденный  
И, похо<роненный> <?><sup>2</sup> в тюрьме  
С лампадой, дремлющей во тьме, —  
Не склонит в тишине пустынной  
На свиток ваш очей своих —  
И на стене ваш вольный стих  
Не начертит рукой безвинной  
Немой и горестный привет  
Для узника [грядущих] <лет>  
(VI, 282–283)

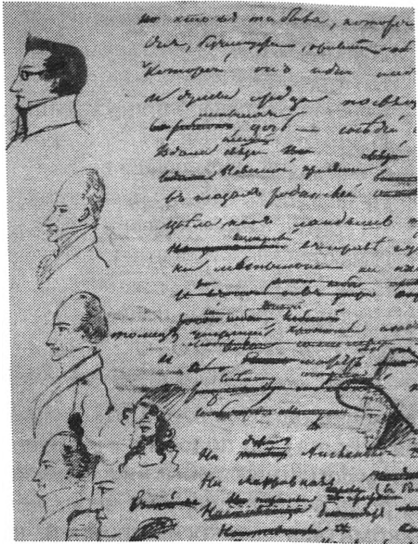
Здесь уже намечен один из вариантов судьбы Поэта (лирического героя романа), по подобию с А. Шенье<sup>3</sup>.

Ленскому же в романских событиях, видимо, была поначалу уготована роль второстепенная: через него герой должен был познакомиться с некоей героиней, которая была, по замыслу, обречена на интригу с заглавным героем романа, знатоком «науки страсти нежной».

Образ Ольги обрисовывается в строфах, над которыми Пушкин работал на л. 34–35 тетради ПД 834. В те дни автору грезилась ее трагическая судьба:

В глазах родителей она  
Цвела, как ландыш потаенный —  
Незнаемый в траве глухой  
Ни мотыльками, ни пчелой  
И может быть уж обреченный  
Питомец утренней росы  
Слепому острию косы  
(VI, 287)

Как справедливо отмечено В.В. Набоковым и И.М. Дьяконовым<sup>4</sup>, первоначальный черновик этих строф не оставляет сомнения в том, что сначала Пушкин не предполагал еще, что для фабулы романа потребуется ее сестра. Только позже пятая строка этой строфы «Ребенок — дочь соседей бедных» была поправлена: «Меньшая дочь соседей бедных». Ход же авторских размышлений, в результате которых в романе появится Татьяна Ларина, проясняется графикой на той же странице рабочей тетради.



Портреты А.С. Грибоедова и П.Я. Чаадаева  
(ПД 834, л. 34)

Вверху на левом поле страницы здесь изображен портрет А.С. Грибоедова, а ниже один под другим — три иконографически сходных мужских портрета, — сначала резко карикатурный, а затем постепенно все более и более облагороженный.

Обращаясь к пушкинской переписке той поры, мы понимаем, почему и в каком контексте он вспомнил о Грибоедове: «Что такое Грибоедов? — недоумевал Пушкин в письме к Вяземскому 11 ноября 1823 г.<sup>5</sup> — Мне сказывали, что он написал комедию на Чedaева; в теперешних обстоятельствах это чрезвычайно благородно с его стороны» (XIII, 81).

Пушкин несомненно знал о тесных дружеских отношениях, связывавших Грибоедова и Чаадаева со студенческими времен. Сам поэт с Грибоедовым был знаком шапочно. После выхода из Лицея в июне 1817 г. и до отбытия будущего автора «Горя от ума» на дипломатическую службу в Персию в августе 1818 г., — они вместе служили в Коллегии иностранных дел. Встречались, впрочем, они в ту пору редко, — как правило, не на службе (которая была чисто номинальной), а чаще, скорее всего, в театре. В марте же 1823 г. Грибоедов, получив длительный отпуск, приехал в Москву с двумя актами своей

великой комедии (первоначально названной «Горе уму»), где и закончил в основном работу над ней. В ноябре 1823 г., когда известие о комедии дошло до Пушкина, в Москве о ней ходили лишь неясные слухи, так как публичные чтения начались позже, после завершения работы над пьесой. Первоначально фамилия главного героя писалась: Чадский (вероятно, от «чад» — ср. в одном из его монологов: «Ну вот и день прошел, и с ним / Все призраки, весь чад и дым / Надежд, которые мне душу наполняли...»)<sup>6</sup>. Это и вызвало слухи о «комедии на Чадаева», то есть о якобы сценической карикатуре на него. Подвергать же насмешкам друга, да еще в нынешних «обстоятельствах», когда Чаадаев демонстративно вышел в отставку, пренебрегая обещанным ему чином флигель-адъютанта, и уехал за границу, — было бы низостью (у Пушкина сарказм: «чрезвычайно благородно»). Отсюда и недоумение: «что такое Грибоедов?» (то есть: как он мог?!).

Именно в это время и появляется в рабочей тетради под изображением Грибоедова сначала карикатура на Чаадаева, а потом его же постепенно облагороженный облик<sup>7</sup>. Заметим, что впервые подобный же профиль намечен в той же рабочей тетради на л. 26 об., под портретом Толстого-Американца (там ассоциативная связь между зарисовками была вызвана воспоминанием о соответствующих строках, язвивших клеветника, — в послании к Чаадаеву).

Но в чем «онегинское значение» портретных зарисовок на л. 34 об.?

Это становится понятным, если вспомнить, что фамилию «Ленский» Пушкин позаимствовал в комедии Грибоедова «Притворная неверность», которая была издана в 1818 г. и часто ставилась на сцене. Давно замечено, что и фамилия заглавного героя романа в стихах пришла из комедии А.А. Шаховского «Не люблю — не слушай, а лгать не мешай» (1819), в которой она появилась, очевидно, именно по аналогии с «Ленским», так как Грибоедов первым прибегнул к новации, замеченной театральным критиком и закрепившейся на русской сцене: «Переводчики<sup>8</sup> “Притворной неверности” <...> дали почти всем действующим лицам своим имена русских городов, рек и пр. (Рославлев, Ленский и т.п). По нашему мнению, они очень хорошо поступили в этом случае...»<sup>9</sup>

Впрочем, за исключением имен действующих лиц и некоторых красот стиля комедия «Притворная неверность» была довольно точным переводом французской комедии Николая

Барта «Les fausses infidélités» (1809), высоко оцененной в «Лицее» Лагарпа<sup>10</sup>. Прелесть этой комедии заключалась в великолепном квартете психологически точно намеченных характеров. Ж. Бонамур в своей монографии о Грибоедове об этом пишет так: «Грибоедов также сохранил характеры Барта, одновременно простые и очень индивидуализированные. Доримена, живая, независимая, иногда шаловливая и не очень склонная к мечтательности, создана для того, чтобы любить Вальсена и приноравливаться к его немного хладнокровной любви. Анжелика, более застенчивая и более нежная, способна выносить, хотя и с трудом, болезненную ревность Дормильи и находить иногда в ней поводы любить его сильнее. Тайному согласию пар соответствует контраст между двумя молодыми людьми и двумя женщинами, контраст скорее важный для развития театральной интриги: потому что возлюбленные редко показаны вместе, но часто вместе показаны друзья, споры которых служат для развития действия и для развития интриги»<sup>11</sup>.

Становится вполне очевидным, что, задержавшись во время работы над образом Ольги на мысли о Грибоедове и вспомнив о том, что фамилия Ленского пришла от него, Пушкин именно тогда решил дать в своем романе столь же контрастную пару женских героинь. Так рядом с Ольгой появилась Татьяна. Конечно, здесь заимствован лишь прием, не столь уж и оригинальный. В 1827 г. Пушкин заметит: «Противуположности характеров вовсе не искусство, но пошлая пружина французских трагедий» (XII, 232), — можно было бы добавить: «...и комедий». Но это давало автору романа в стихах большой фабульный простор. В самом деле, ансамбль Онегин — Ленский — Ольга фатально предопределял обычную романную интригу, сводившуюся к банальному «любовному треугольнику» (не потому ли Ольга первоначально и была обречена «слепому острию косы»?), — тем более что, по ироническому замечанию автора об Ольге,

...любой роман

Возьмите и найдете верно  
Ее портрет: он очень мил,  
Я прежде сам его любил,  
Но надоел он мне безмерно.  
Позвольте мне, читатель мой,  
Заняться старшею сестрой.

(VI, 41)

«Даль свободного романа» и в ту пору автор еще «неясно различал». Татьяна, хотя ей и дано простонародное имя, во второй главе тоже мало отличалась от обычных романских героинь, недаром «ей рано нравились романы, они ей заменяли все». Но уже сама расстановка героев и героинь таила в себе некоторые неожиданности, побуждая искать нешаблонные фабульные решения. В самом деле, мечтательный Ленский увлечен посредственностью, и это выявляло его зашоренность. Холодный же Онегин, оказывается, более чуток. «Неужто ты влюблен в меньшую?» — удивляется он. Утомленный светскими победами, он вроде бы испытывает пробуждение искреннего чувства. Впрочем, герой и сам еще не вполне разобрался в своих чувствах и готов — как намечено в черновике начала третьей главы — действовать по испытанному шаблону. Однако этот простой фабульный ход развития не получил. Характер Татьяны требовал особой разработки: ведь, в отличие от ее сестры («любой роман возьмите...»), Пушкин, по сути дела, встал перед необходимостью развить совершенно оригинальный характер.

В июле 1825 г. Пушкин писал Н.Н. Раевскому-младшему: «...у женщин нет характера, у них бывают страсти в молодости; вот почему так легко изображать их» (оригинал на фр. яз. — XIII, 197). Подобный «легкий способ» для Татьяны не подходил. В третьей главе романа Пушкин словно забывает о заглавном герое (ему интереснее героиня), и, оказывается, она встает вровень с ним, берет инициативу в свои руки, удивляя своими поступками не только будущих читателей романа, но, кажется, и самого автора...

Но пока, в конце 1823 г., в Одессе пишется вторая глава романа.

Грядущее путешествие героя и автора, «в роде Дон-Жуана», по мысли Пушкина, только со временем должно еще состояться, и он невольно подпадает под ранее намеченные собственные сюжетные разработки.

Давно замечено некоторое сюжетное сходство романа в стихах с поэмой «Кавказский пленник». В центре обоих произведений — молодой человек с «уоставшею душой», и этот герой испытывается в столкновении с другим характером, воплощающим в себе эстетический идеал поэта, — с дочерью природы, способной на сильное самозабвенное чувство, уже недоступное герою. Если к тому же учесть, что в тексте романа сохранились следы нереализованного за-

мысла, который предполагал раннюю гибель героини, то подобие сюжетного хода двух произведений (на какой-то стадии работы над «Евгением Онегиным») становится более определенным. Однако недаром такой сюжетный ход для романа все же не пригодился.

Кавказская «повесть» была рассказана в элегическом ключе, роман же начат в ключе ироническом, причем ирония автора направлена не только на окружающий героя мир, но и на него самого. Первой же попыткой Пушкина дать характер светского молодого человека в ироническом освещении относится к 1821 г., когда поэт, вскоре после завершения «Кавказского пленника», набрасывает в Первой кишиневской тетради (ПД 831, л. 40–41 об.) программу и первую сцену так называемой комедии об игроке. Герой ее лишен элегического самоупоения Пленника, но еще более, чем тот, разочарован в обществе:

По счастью, модный круг теперь совсем не в моде.  
Мы, знаешь, милая, все нынче на свободе,  
Не ездим в общество, не знаем наших дам.  
Мы их оставили на жертву старикам,  
Любезным баловням осьмнадцатого века.  
А впрочем — не найдешь живого человека  
В отборном обществе...

(VII, 246)

В пушкинском плане главный герой пьесы обозначен фамилией петербургского актера Сосницкого, который прославился в амплуа светских повес<sup>12</sup> в так называемой салонной (светской, легкой) комедии, открытой на русской сцене пьесой Грибоедова «Молодые супруги» (1815), но получившей наиболее яркое воплощение в творчестве Н.И. Хмельницкого. Светская комедия была чрезвычайно популярным жанром на рубеже 1820-х гг., привлекая зрителей тонким психологизмом, колкостью злободневных намеков, звучностью стихов, нередко приобретающих афористичную форму. С большим одобрением к этому жанру относились в кружке «Зеленая лампа», сам же Пушкин чрезвычайно высоко ценил комедийные опыты Хмельницкого. В мае 1825 г. он писал брату: «А Хмельницкий моя старинная любовница. Я к нему имею такую слабость, что готов поместить в честь его целый куплет в 1-ую песнь Онегина, да кой черт! Говорят, он сердится, если о нем упоминают, как о драматическом писа-

теле...» (XIII, 175) — а в 1831 г. в письме к Хмельницкому называл его «любимым поэтом» (XIV, 157).

Сосредоточив в романе в стихах свое внимание на том из персонажей, который всецело был предан «науке страсти нежной», Пушкин не мог, вероятно, не учитывать опыта легкой комедии, сюжет которой всегда был основан на «любовных испытаниях».

Потому-то герои романа и получили знаковые фамилии, что является выразительным сигналом сближения романа в стихах со светской комедией. Ни в одном другом жанре русской литературы, кроме этого, не был так представлен на первом плане тип молодого повесы, характер и любовные похождения которого изображались в тоне сочувственного комизма.

Не возвышаясь обычно до сатирического обличения, светская комедия была по-своему очень внимательна к быту, колко подмечая его привычные приметы. В первых главах «Евгения Онегина» Пушкин тоже не выходит за сферу быта, оставляя в стороне факты истории. Сами исторические лица упоминаются здесь в сниженной бытовой ситуации:

Руссо (замечу мимоходом)  
Не мог понять, как важный Грим  
Смел чистить ногти перед ним,  
Красноречивым сумасбродом.  
Защитник вольности и прав  
В сем случае совсем не прав.

(VI, 15)

Черновики онегинских строф свидетельствуют, что Пушкин намеренно удерживался от включения в текст романа историко-публицистических рассуждений. Это не могло быть связано с автоцензурой (по собственному признанию, он начал писать роман «спустя рукава», без оглядки на цензуру). Однако рядом с онегинскими строками в рабочей тетради то и дело возникают политические мотивы (стихотворения «Кто, волны, вас остановил...», «Недвижный страж дремал на царственном пороге...», «Зачем ты послан был и кто тебя послал...», «К морю», «Мне жаль великия жены...»).

Специального анализа заслуживают эпиграфы к «деревенской» главе «Евгения Онегина».

В черновой рукописи их еще не было, что и понятно: эпиграфы в романе всегда появлялись на стадии подготовки рукописей к печати как заданная с самого начала главы автор-

ская оценка изображенных лиц и событий. Уже в беловике (ПД 931) глава предварялась каламбурным сближением:

О rus!....

*Hor.*

О Русь!

Из эпитафий, которые непременно при печати предпосылались к каждой главе, семь были иностранными<sup>13</sup>. То есть русскую жизнь Пушкин преимущественно оценивал взглядом европейца. В эпитафиях же второй главы сталкивались две точки зрения.

Сама по себе строка из Горация вполне здесь уместна. Русская буколическая (идиллическая) поэзия традиционно использовала арсенал античных образных средств, и в «сельской» главе (особенно в ее черновиках) постоянно упоминаются и «задумчивые Дриады», и «Парнасские девы», и «суд Паллады», и «луч Феба», и «свои Пенаты», и Лета, и «мирные Аониды». Однако традицией буколической поэзии назначение эпитафий, конечно, не исчерпывается. По сути дела, ими испытываются все персонажи второй главы.

У Евгения и деревня, и Русь вызывают лишь досаду и скуку. Так, может быть, серьезное осмысление эпитафий отражает мироощущение Ленского, основного героя этой главы, как это обозначено в болдинском плане романа (см. VI, 532)? Однако, как выясняется, и он меньше всего упоен рускостью своей деревни. Хотя

Он рощи полюбил густые,  
Уединенье, тишину,  
И ночь, и звезды, и луну,  
Луну, небесную лампаду...

(VI, 47) —

Русь в общем-то ему неинтересна:

Он пел разлуку и печаль,  
И нечто, и туманну даль,  
И романтические розы;  
Он пел те дальние страны,  
Где долго в лоно тишины  
Лились его живые слезы...

(VI, 44)

В устах Ленского могло бы прозвучать «О rus!» — но столь же нелепо, как и его восклицание «Poor Yorick!».



Пока еще и Татьяна (определение «русская душа» появится значительно позже, в главе пятой) также мало замечает прелести русской деревни:

Ей рано нравились романы,  
Они ей заменяли все...

(VI, 44)

И оказывается, подлинно русскими выглядят только старики Ларины:

Они хранили в жизни мирной  
Привычки милой старины;  
У них на масленице жирной  
Водились русские блины;  
Два раза в год они говели;  
Любили русские качели,  
Подблюдны песни, хоровод;  
В день троицын, когда народ  
Зевая, слушает молебен,  
Умильно на пучок зари  
Они роняли слезки три;  
Им квас как воздух был потребен,  
И за столом у них гостям  
Носили блюда по чинам.

(VI, 47)

Строфа эта была написана задним числом в конце черновой рукописи главы, но во всех четырех прижизненных изданиях в этой строфе исключены строки 5–11 — очевидно, вовсе не по цензурным соображениям (только девятый стих был в печати невозможен; если бы Пушкин дорожил всем остальным, он без труда нашел бы благопристойный вариант)<sup>14</sup>. Достаточно прочитать то, что осталось в печатном тексте от этой строфы, чтобы почувствовать и здесь авторский сарказм в восклицании: «О Русь!» Недаром в фамилии Лариных таится, по-видимому, столь же двусмысленный каламбур: здесь вспоминаются античные домашние боги Лары и одновременно — ларь, очевидно со специфическим значением этого слова, встречающимся в русских говорах, — гроб (ср. в «Горе от ума»: «тот ларчик, где не встать, не сесть»).

Эпиграф ко второй главе возник, несомненно, как окрашенная горечью авторская шутка. Русская каламбурная калька латинского выражения провоцировала и на другое звуковое сближение: «Ору-с. Хор».

Безрадостное осмысление описанных в главе русских «оригиналов» предопределено первоначальным замыслом романа, когда его основное действие должно было развернуться на просторах мира.

Однако, готовя первую онегинскую главу к печати в 1825 г., Пушкин дописывает в Михайловском строфы V и VI, в которых подчеркивает «разность» между героем и автором романа:

Я был рожден для жизни мирной,  
Для деревенской тишины:  
В глуши слышнее голос лирный,  
Живее творческие сны...

(VI, 28)

Издавая же в 1826 г. главу вторую, Пушкин специально пометит: «Писано в 1823 году».

«Печальный жребий свой...» — комментирует В.В. Набоков. — Эта жалоба на судьбу, прозвучавшая в ссылке и потерявшая актуальность к октябрю 1826 г., когда поэт был прощен и песнь напечатана, явилась причиной, заставившей Пушкина благоразумно датировать отдельное издание второй главы (с. 5) — «Писано в 1823 году»<sup>15</sup>.

Однако причина здесь была совершенно иной. Подобные же уточнения были сделаны и при изданиях поэм «Цыганы» и «Братья разбойники», вышедших в 1827 г. — соответственно: «Писано в 1824 году» и «Писано в 1822 году». Во всех случаях автор предупреждал читателей о том, что произведения эти написаны в молодости, так их, мол, и нужно оценивать.

В составе же полного издания романа в стихах эпиграфы ко второй главе приобрели новый обертон, отраженный в пушкинском афоризме из «Романа в письмах» (1829): «Петербург прихожая, Москва девичья, деревня же наш кабинет» (VIII, 52). Вспомним в этой связи хотя бы описание двух кабинетов Онегина — петербургского (гл. 1) и деревенского (гл. 7).



<sup>1</sup> Первоначально (см. VI, 267) ему дана была фамилия «Холмский» — так был назван главный герой в скандально известной комедии А.А. Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (1815).

<sup>2</sup> В академическом издании на месте отмеченных нами знаком вопроса слов поставлено: «нечистые» и *нрзб*.

<sup>3</sup> На следующей странице тетради ПД 834 начато вчерне письмо к Вяземскому от 4 ноября 1823 г., где, в частности, вспоминается А. Шенье (см. XIII, 380). Здесь же Пушкин впервые сообщает о том, что пишет роман в стихах, по поводу которого «о печати думать нельзя» (XIII, 382).

<sup>4</sup> *Набоков В.В.* Комментарий. С. 253–254; *Дьяконов И.М.* Об истории замысла «Евгения Онегина». С. 84–88.

<sup>5</sup> Датировка этого письма была недавно уточнена — см.: *Левичева Т.И.* Письма А.С. Пушкина южного периода (1820–1824): Проблемы текстологии. Симферополь, 1999. С. 28–29.

<sup>6</sup> *Грибоедов А.С.* Полн. собр. соч. СПб., 1995. Т. 1. С. 101.

<sup>7</sup> Аналогичная графическая операция произведена Пушкиным в начале 1826 г. с портретом В.К. Кюхельбекера в тетради ПД 835 (л. 81 об.). Сначала здесь по привычке рисуется карикатурный профиль лицейского Кюхли. Но в это время судьба его глубоко волнует поэта: до него дошли слухи, что полиция разыскивает мятежника, который исчез из Петербурга после 14 декабря 1825 г. и, возможно, погиб. Эти тревожные раздумья запечатлены в шести портретах Кюхельбекера, от карикатуры до посмертной маски. См.: *Чернов А.Ю.* Мнимая смерть Кюхельбекера // Лит. Россия. 1983. 22 апр. С. 21.

<sup>8</sup> Из-за спешки по случаю бенефиса Е.С. Семеновой, которой была обещана пьеса, два явления комедии были переведены А.А. Жандром.

<sup>9</sup> Сын отечества. 1818. Ч. 46. № 19. С. 263.

<sup>10</sup> *Laharpe.* Lycée ou cours de littérature. P., 1813. Т. 7. P. 44.

<sup>11</sup> *Vonatour J. A.S.* Griboedov et le vie littéraire de son temps. P., 1965. P. 157.

<sup>12</sup> По воспоминаниям современников, И.И. Сосницкий порой на сцене копировал реальных лиц из светской молодежи, сидящих в театральном зале.

<sup>13</sup> Эпиграф из Вяземского к первой главе романа был намечен Пушкиным только в 1830 г. в болдинском плане «Евгения Онегина» и введен в печатный текст в полном издании романа 1833 г.

<sup>14</sup> Едва ли следует печатать эти строки в современных изданиях, нарушая авторскую волю: во всех четырех прижизненных изданиях главы (1826, 1830, 1833, 1837) в строфе XXXV строки 5–11 были заменены отточием.

<sup>15</sup> *Набоков В.В.* Комментарий. С. 276.

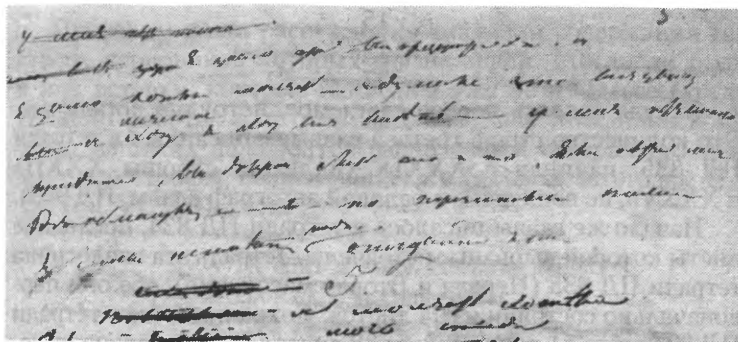
## «Я вам пишу...»

*В* творческой истории романа в стихах особо сложным и ответственным этапом стала работа над третьей главой, черновики которой наполовину утрачены, но поддаются реконструкции.

Над первыми двумя главами романа Пушкин работал без больших перерывов до 8 декабря 1823 г. Поставив эту дату под заключительной строфой второй главы на л. 42 об. тетради ПД 834, Пушкин еще двумя листами раньше начал было набрасывать первую строфу третьей главы, но оставил онегинский замысел — на два месяца: перед началом первой строфы этой главы на л. 48 об. помечено: «8 февраля». Столь долгий перерыв в работе объясняется, вероятно, тем, что только теперь начинается в романе фабульное действие. Точно очерченные характеры, сведенные вместе, должны были проявить себя в поступках, подчиняясь собственной логике, выходя отчасти даже из-под жесткого контроля автора (в чем он сам впоследствии признавался).

В марте 1824 г. Пушкин собирался отправиться из Одессы в Кишинев, по приглашению Ф.Ф. Вигеля<sup>1</sup>. Готовясь к этой поездке, он переписал на л. 3 Второй масонской тетради (ПД 835) из тетради ПД 834 последний эпизод январского черновика поэмы «Цыганы», оставив чистыми в тетради ПД 835 два предыдущих листа, чтобы потом, вероятно, внести на них начало той же поэмы. Ему кажется, что именно там, в Бессарабии, где разворачиваются события в цыганском таборе, завершая работу над поэмой наконец подвигнется.

Но в Кишиневе (куда он отправился 12 марта) неожиданно — возможно, еще в дороге — родился новый замысел. На л. 5 тетради ПД 835 Пушкин набрасывает конспект Письма Татьяны к Онегину:



Конспект Письма Татьяны к Онегину  
(ПД 835, л. 5)

«У меня нет никого. [Я знаю уже] Я знаю, что вы презираете и пр. Я долго хотела молчать — я думала, что вас увижу, [вы] я ничего не хочу, я хочу вас видеть — [я] у меня нет никого. Придите, вы должны быть то и то. Если нет, меня Бог обманул и я — но перечитывая письмо, я силы не имею под<писать> отгадайте, я же...»

На смежной странице (л. 4 об.) Пушкин сразу начинает писать строфу, предворяющую Письмо Татьяны, и само письмо — оно будет окончено еще в Кишиневе (то есть до 28 марта) на л. 5–7, тогда же на л. 9 об. будут написаны строфы, следующие за письмом — XXXII, XXXIIIа.

Но дальше третья глава будет продолжена в Михайловском, 5 сентября 1824 г., на л. 11 об. вновь переработанной строфой XXXII, под которой имеется помета (о ней см. ниже) о получении письма от графини Е.К. Воронцовой.

Третья глава дописывается до конца, и на л. 20 ее окончание фиксируется датой «2 окт. 1824».

Несколько позже Пушкин возвратился к л. 12, на котором вверху была написана строфа «Ах, няня, сделай одолжение...», а нижняя часть страницы осталась незаполненной. Теперь карандашом здесь набрасывается еще одна строфа, в продолжение разговора Татьяны с Фадеевной, — «Как недогадлива ты, няня».

Вот тогда Пушкин и решил прикинуть общий размер получившейся третьей главы. Рядом со строфой XXXV (по окончательному порядку строф в этой главе), также карандашом, он делает подсчет:

15

12

27

Откуда взялось первое слагаемое, нетрудно догадаться. Это количество строф третьей главы, записанных в тетради ПД 835, начиная с XXXIX (включая строфы XXXIIa и XXXVa, не вошедшие в беловой автограф главы, ПД 933).

Начало же главы писалось в тетради ПД 834, последние листы которой вырваны и утрачены. Тетрадь эта аналогична тетради ПД 835 (Первая и Вторая масонские), обе они первоначально состояли из 94 листов. Сохранился же в тетради ПД 834 всего 51 лист, причем 38 листов было вырвано из середины тетради — значит, в конце ее недостает всего 5 листов (51+38+5=94). На них могли уместиться черновики *не более 20* строф (по две на странице), да и то, если онегинский текст не перебивался там другими записями. Но обрывается тетрадь ПД 834 на строфе VI, а в тетради ПД 835 третья глава продолжена со строфы XXIX (по счету строф в окончательной редакции). Таким образом, нам остаются неизвестны черновые автографы ряда строф.

Сделав эти выкладки, мы можем понять, что могло означать второе слагаемое (12) в подсчете, произведенном Пушкиным на л. 12 тетради ПД 835: это количество, по всей вероятности, строф третьей главы, записанных в тетради ПД 834.

Недаром поэт контролировал себя. Глава, заключенная эффектной концовкой:

Последствия нежданной встречи  
 Сегодня, милые друзья,  
 Пересказать не в силах я.  
 <Я> жажду после долгой речи  
 <И> погулять, <и> отдохнуть  
 Окончу всё <?> когда-нибудь.  
 (VI, 331–332) —

оказалась намного короче, нежели первые две главы, для которых Пушкин уже определил количественный эталон: примерно по 50 строф. Здесь же было на 23 строфы меньше, и положение не спасали два астрофических фрагмента третьей главы: «Письмо Татьяны» и «Песня девушек».

Подсчет Пушкина, следовательно, позволяет представить первоначальную, черновую редакцию третьей главы, хотя некоторая часть ее ныне и утрачена.

Проверим наши рассуждения анализом содержания тех строф, черновики которых мы не знаем. Могли ли быть в них вставки, которые написаны уже не в Одессе (когда Пушкин работал в тетради ПД 834), а в Михайловском? Один из таких фрагментов распознается совершенно точно — это строфы, сохранившиеся в беловом автографе ПД 154 (см. VI, 579):

— Не спится, няня, здесь так душно!  
Открой окно да сядь ко мне.  
— Что, Таня, что с тобой? — Мне скучно,  
Поговорим о старине.  
— О чем же, Таня? Я, бывало,  
Хранила в памяти не мало  
Старинных былей, небылиц  
Про злых духов и про девиц;  
А ныне все мне тёмно, Таня,  
Что знала, то забыла. Да,  
Пришла худая череда!  
Зашибла... — Расскажи мне, няня,  
Про ваши старые года:  
Была ль ты влюблена тогда?

— И полно, Таня! В наши лета  
Мы не слышали про любовь;  
А то бы согнала со света  
Меня покойница свекровь. —  
— Да как же ты венчалась, няня?  
— Так, видно, Бог велел. Мой Ваня  
Моложе был меня, мой свет,  
А было мне 15 лет.  
Недели две ходила сваха  
К моей родне, и наконец  
Меня благославил отец.  
Я горько плакала от страха,  
Мне с пеньем косу расплели  
Да с плачем в церковь повели.

И вот вхожу в семью чужую...  
Да ты не слушаешь меня... —  
— Ах, няня, няня, я тоскую,  
Мне тошно, милая моя:

Я плакать, я рыдать готова!..  
 — Дитя мое, ты нездорова;  
 Господь помилуй и спаси!  
 Чего ты хочешь, попроси...  
 Дай окроплю святой водою,  
 Ты вся горишь... — Я не больна  
 Я... знаешь няня... влюблена.  
 — Дитя мое, Христос с тобою. —  
 И няня с тихой мольбою  
 Крестилась дряхлою рукою.

Общепризнанно, что прототипом Фадеевны (в окончательной редакции — Филипьевны) стала Арина Родионовна. Но ведь с ней поэт близко сошелся только в годы михайловской ссылки. До того он плохо ее знал, так как в детстве она была няней его сестры Ольги. Вполне очевидно, что, прорабатывая на л. 12 тетради ПД 835 строфы, посвященные няне Татьяны, и именно в этот момент осознав необходимость расширения одесской редакции начала главы, Пушкин прежде всего обогатил характеристику Фадеевны на основе михайловского общения с Ариной Родионовной.

Имеет смысл реконструировать утраченную отчасти в автографах самую раннюю редакцию (в составе 27 строф) третьей главы к моменту подсчета ее строф, выполненному на л. 12 тетради ПД 835. Реконструкция эта несколько условна по отдельным строкам, так как не сохранившиеся вчерне строфы мы вынуждены воспроизводить по нижнему (первоначальному) слою белого автографа ПД 933. Остальные строфы мы даем по черновым автографам, имеющимся в Первой и Второй масонских тетрадях (ПД 834 и ПД 835) и в некоторых случаях до конца не отработанным.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ (Ранняя редакция)

<I>

— Куда? Уж эти мне поэты!  
 — Прощай, Онегин, — мне пора.  
 — Я не держу тебя, да где ты  
 Свои проводишь вечера?  
 — У Лариных. — Вот это чудно!  
 Помилуй — и тебе не трудно



Там каждый вечер убивать?  
— Нимало. — Не могу понять.  
Отселе вижу, что такое  
Весь дом: послушай, прав ли я?  
Во-первых: русская семья,  
К гостям усердие большое,  
[Варенье], сальная свеча,  
Помин про Савву Ильича.

<II>

— Я тут еще беды не вижу.  
— Да скука — вот беда, мой друг.  
— Я модный свет ваш ненавижу —  
Милее мне домашний круг  
В глуши полей. — Опять эклога!  
Да полно, полно, ради Бога.  
Ну что ж ты едешь? [Очень] жаль, —  
Послушай, Ленский, а нельзя ль  
Увидеть мне Филиду эту?  
Предмет и мыслей, и пера,  
И слов, и рифм et cetera.  
Представь меня. — Ты шутишь? — Нету.  
— Я рад. — Когда же? — Хоть сейчас, —  
Они с охотой примут нас.

<III>

К соседке поскакали други —  
Обоим им расточены  
Порой тяжелые услуги  
Гостеприимной старины.  
Обряд известный угощенья:  
Несут на блюдечках варенья,  
Бутыл с брусничною водой,  
Арбуз и персик золотой.  
В деревне день есть цепь обеда —  
Поджавши руки у дверей  
Сбежались девки из сеней  
Смотреть на нового соседа,  
А на дворе толпа людей  
Критиковала их коней.

## &lt;IV&gt;

Пока дорогой самой краткой  
 Летят назад во весь опор,  
 Теперь послушаем украдкой  
 Героев наших разговор.  
 — Ну что ж, Онегин, — ты зеваешь?  
 — Привычка, [Ленский]! — Ты скучаешь?  
 — Всегда и всюду, правда... — Но  
 Сегодня больше? — Нет, равно.  
 Скорей, скорей пошел, Андрюшка!  
 Какие скучные места...  
 Ах, знаешь, Ларина [проста],  
 Но очень милая старушка.  
 <Ее брусничная вода>  
 Мне не наделала вреда.

## &lt;V&gt;

Скажи, которая Татьяна?  
 — Да та, которая грустна  
 И [молчалива], как Светлана  
 Вошла и села у окна.  
 — Ужели ты влюблен в меньшую?  
 — А что? — Я выбрал бы другую,  
 Когда б я был, как ты, поэт —  
 В чертах у Ольги жизни нет,  
 Как в Рафаэлевой мадоне.  
 <Румянец да> невинный <взор>  
 Мне надоели <с давних пор>.  
 — Всяк молится своей иконе, —  
 Владимир сухо отвечал.  
 И наш Онегин <замолчал>.

## &lt;VI&gt;

В постели лежа — наш Евгений  
 Глазами Байрона читал,  
 Но дань вечерних размышлений  
 В уме Татьяне посвящал. —  
 Проснулся он денницы ране,  
 А мысль была <все> о Татьяне.  
 Вот новое, подумал он,  
 Неужто я в нее влюблен,  
 Ей-богу, это было б славно,

[Себя] [уж] то-то б одолжил,  
Посмотрим, — [и тотчас решил]  
Соседей навещать исправно,  
Как можно чаще, — всякий день,  
[Ведь] им досуг, а нам не лень.

<VII>

Меж тем Онегина явленье  
[У Лариных] произвело  
На всех [большое] впечатленье  
И до соседей уж дошло.  
Пошли догадка за догадкой,  
Все стали толковать украдкой,  
Судить, шутить не без греха,  
Татьяне прочить жениха,  
Иные даже утверждали,  
Что свадьба слажена совсем,  
Но остановлена затем,  
Что только колец не достали.  
[Того же мненья был и поп  
И сам дьячок его Антроп].

<VIII>

Татьяна слушала с досадой  
Такие сплетни; но тайком  
С неизъяснимою отрадой  
Невольню думала о том;  
И в сердце дума заронилась;  
Пришла пора, она влюбилась.  
И призрак милый и живой  
Весь овладел ее душой.  
Давно ее воображенье,  
Сгорая негой и тоской,  
Алкало пищи роковой;  
Давно сердечное томленье  
Теснило ей младую грудь:  
Она ждала кого-нибудь

<IX>

И дождалась... Открылись очи,  
Душа сказала: это он!  
Увы! Теперь и дни и ночи,  
И жаркий одинокий сон —

Все полно им; все дева милой  
Безумолку волшебной силой  
Твердит о нем. Докучны ей  
И звуки ласковых речей,  
И взор заботливой услуги.  
В уныние погружена  
Гостей не слушает она  
И проклиняет их досуги,  
Их неожиданный приезд  
И продолжительный присест.

## &lt;X&gt;

Одна с каким она вниманьем  
Читает пламенный роман,  
С каким живым очарованьем  
Пьет обольстительный обман!  
Одушевленные созданья  
Волшебной силою мечтанья,  
Любовник Юлии Вольмар,  
Малек-Адель и де Линар,  
И Вертер, мученик мятежный,  
И пресловутый Грандисон,  
Который вам наводит сон, —  
Все для мечтательницы нежной  
В единый образ облеклись,  
В одном Онегине слились.

## &lt;XI&gt;

Воображаясь героиней  
Бесценных для нее творцов,  
Кларисой, Юлией, Дельфиной,  
Татьяна в тишине лесов  
Одна с опасной книгой бродит,  
Она в ней ищет и находит  
Свой тайный жар, свои мечты,  
Плоды сердечной полноты,  
Вздыхает и, себе присвоя,  
Чужой восторг, чужую грусть,  
В забвенье шепчет наизусть  
Письмо для нашего героя...  
Но наш герой, что б ни был он,  
Уж вовсе был не Грандисон.

<XII>

Увы! Друзья! Мелькают годы —  
И с ними вслед одна другой  
Мелькают ветреные моды  
Разнообразной чередой —  
Всё изменяется в природе.  
Ламуш и фижмы были в моде,  
Придворный франт и ростовщик  
Носили пудренный парик.  
Бывало, важные поэты  
В надежде славы и похвал  
Точили тонкий мадригал  
Иль остроумные куплеты...  
Бывало, важный генерал  
Служил и грамоты не знал.

<XIII>

Неправильный, небрежный лепет,  
Ошибка, выговор чужой  
По-прежнему невольный трепет  
Произведут во мне порой —  
Раскаяться во мне нет силы:  
Мне галлицизмы будут милы,  
Как прошлой юности грехи,  
Как Богдановича стихи.  
Но полно — мне пора заняться  
Письмом красавицы моей.  
Я слово дал — и что ж — ей-ей,  
Теперь готов хоть отказать.  
О где найду я в наши дни  
Перо достойное Парни?

<XIV>

Когда б ты был еще со мною  
<Певец любви, певец пиров!>  
<.....>  
.....>  
Ты на знакомые напевы  
Переложил бы юной девы  
Иноплеменные слова.  
Мою тетрадь, мои права  
Ему бы вверил я с поклоном.

Но на вершине [финских скал],  
Отвыкнув сердцем от похвал,  
Один под финским небосклоном  
Он бродит. И [перо] его  
Не слышит горя моего.

## &lt;XV&gt;

Письмо Татьяны предо мною —  
(Его я свято берегу).  
Читаю с тайною душою  
И начитаться не могу;  
Кто ей внушил такую нежность  
И [слов сердечную] небрежность,  
Столь [милый, столь умильный] вздор,  
Безумный сердца разговор  
И завлекательный и вредный,  
Я не могу понять — но вот  
Неполный, слабый перевод  
С картины яркой — список бледный  
Или перстами учениц  
Разыгранный Моцарт иль Диц.

*Письмо Татьяны*

Я вам пишу — чего же боле,  
Что я могу еще сказать?  
Теперь, я знаю, в вашей воле  
[Меня презреньем] наказать —  
Предвижу мой конец недалёкой.  
Но вы к судьбе моей печальной,  
Хоть каплю жалости [храня],  
Вы не оставите меня, —  
Сначала — я молчать хотела,  
Поверьте — моего стыда  
Вы не узнали б никогда,  
Когда б надежду я имела.  
Хоть изредка, в неделю раз,  
В деревне нашей видать вас.  
Незамечаемая вами,  
Могла я слушать вас меж нами,  
Когда бы можно было мне  
Вас видеть иногда <...>  
Безмолвно слушать ваши речи,

Подать вам руку — а потом  
Всё размышлять об вас одном  
И день и ночь до новой встречи. —  
Но, говорят, вы нелюдим,  
Вам даже в свете было скучно.  
В деревне чем вас угостим?  
Хоть вам и рады простодушно.  
Зачем вы посетили нас  
В глуши забытого селенья?  
Я никогда не знала вас,  
Не знала страстного мученья.  
Моя смиренная семья,  
Уединенные гулянья  
Да книги, верные друзья, —  
Вот все, что так любила я. —  
Души неопытной мечтанья  
Смирив со временем — как знать?  
Быть может, я нашла бы друга,  
Была б и верная супруга,  
И добродетельная мать.  
Другой... нет, никому на свете  
Не отдала бы сердца я —  
То в высшем суждено совете,  
То Воля неба — я твоя,  
Ко мне, ко мне ты послан Богом,  
Я знаю, ты хранитель мой,  
Вся жизнь моя была залогом  
Свиданья нашего с тобой;  
Ты мне внушил мои моления,  
Любви небесной чистый жар,  
И грусть, и слезы умиленья —  
Они тебе — они твой дар —  
Ты в сновиденьях мне являлся,  
Незнаемый, ты был уж мил,  
Твой чудный взгляд меня томил,  
В душе твой голос раздавался.  
То верно был не сон,  
Ты лишь вошел, я вмиг узнала.  
Душа заныла, [запылала],  
И я сказала — это он.  
Не правда ль, я тебя слыхала,  
Ты звал меня вдаль,

Когда я бедным помогала  
 Или молитвой улаждала  
 Неизъяснимую печаль.  
 И в это самое мгновенье  
 Не ты ли, милое виденье,  
 В прозрачной темноте мелькнул,  
 Не ты ль с надеждой и любовью  
 Склонился тихо к изголовью,  
 Слова надежды мне шепнул?  
 Кто ты, мой ангел ли хранитель  
 Иль демон, сердца искуситель,  
 Приди, сомненья разреши.  
 Но, может быть, судьба жестоко  
 Меня сумела обмануть.  
 И врезалась она глубоко  
 В мою пылающую грудь...  
 Но так и быть: судьбу мою  
 Отныне я тебе вручаю —  
 Перед тобою слезы лью,  
 Твоих советов ожидаю.  
 Вообрази — я здесь одна,  
 Меня никто не понимает,  
 Расудок мой ослабевает.  
 <.....>  
 Я жду тебя — единым взором  
 Надежды сердца оживи  
 Иль сон тяжелый перерви  
 Увы! Заслуженным укором.  
 Кончаю... страшно перечесть,  
 Невольно страхом замираю,  
 Но мне порукой ваша честь,  
 И смело ей себя вручаю.

## &lt;XVI&gt;

Татьяна то вздохнет, то охнет,  
 Дрожит письмо в ее руке,  
 Облатка розовая сохнет  
 На воспаленном языке.  
 Уж поздно, блеск луна теряет,  
 И утро тихое сияет  
 Сквозь ветки липы к ней в окно,  
 А нашей деве все равно:



Окаменев, облокотилась...  
Постель горяча...  
С ее прелестного плеча  
Сорочка легкая спустилась.  
Упали кудри на глаза,  
На перси капнула слеза.

<XVII>

В волненье, сидя на постеле,  
Татьяна чуть могла дышать,  
Письма не смея в самом деле  
Ни перечесть, ни подписать.  
И думала — что скажут люди?  
И подписала «Т.<вердо> Л.<юди>».  
<.....>

<XVIII>

Она зари не замечает,  
Не внятен ей и шум дневной,  
И на письмо не напирает  
Своей печати вырезной.  
Но дверь тихонько отворяя,  
Уже Фадеевна седая  
Приносит на подносе чай...  
— Пора, дитя мое. Вставай...  
Да ты, красавица, готова.  
Ох, пташка ранняя моя,  
Уж как вечер боялась я.  
Ну! Слава Богу, ты здорова,  
Лицо твое как маков цвет,  
Тоски ночной и следа нет.

<XIX>

— Ах няня! Сделай одолженье...  
— Изволь, родная, прикажи.  
— Не думай... видишь... подозренье...  
Но право — ах, не откажи.  
— Мой друг, вот Бог тебе порука,  
— Пошли же потихоньку внука  
С запиской этой к тому  
Соседу, да вели ему,  
Чтоб он не вымолвил ни слова

Чтоб он не называл меня.  
 — Кому же, милая моя?  
 Я нынче стала бестолкова —  
 Кругом соседей много есть  
 По пальцам их не перечеть.

## &lt;XX&gt;

— Как недогадлива ты, няня.  
 — Что делать, Таня, я стара,  
 Тупеет разум, Таня,  
 А то, бывало, я востра,  
 Бывало, слово барской воли...  
 — Ах, няня, няня, до того ли!  
 Тут, видишь, дело о письме —  
 Что толку мне в твоём уме?!  
 Пошли к Онегину. — Ну, дело,  
 Давно была такая я,  
 Когда я нянчила тебя...  
 Да что с тобой? — ты побледнела!  
 — Так, няня, право, ничего...  
 Пошли же внука своего.

## &lt;XXI&gt;

Теперь как сердце в ней забилося!  
 О Боже! Страх и стыд какой!  
 В груди дыхание стеснилось...  
 Что станет делать? — Боже мой!  
 Сама на мать глядеть не смеет,  
 То вся горит, то вся бледнеет —  
 При ней, потупя взор, молчит  
 И чуть не плачет и дрожит.  
 Внук няни к вечеру явился.  
 Соседа видел он — ему  
 Письмо вручил он самому.  
 И что сосед? — Верхом садился —  
 И положил письмо в карман...  
 О, чем-то кончится роман?!

## &lt;XXII&gt;

Но день прошел — и нет ответа,  
 Настал другой — все нет как нет. —  
 с утра одета

Татьяна ждет: когда ж ответ?  
Приехал Ольгин обожатель —  
— Скажите: что же ваш приятель?  
Он что-то нас совсем забыл, —  
Ему вопрос старушки был.  
Татьяна в угол подбежала.  
— Сегодня быть он обещал, —  
Старушке Ленский отвечал, —  
Да, видно, почта задержала...  
Татьяна потупила взор,  
Как будто слыша злой укор.

<XXIII>

Смеркалось. На столе, блистая,  
Шипел вечерний самовар,  
Китайский чайник обвивая,  
Над чайником клубился пар.  
Разлитый Ольгиной рукою,  
По чашкам желтою струею  
Уже душистый чай бежал —  
И сливки Тришка подавал.  
Татьяна у окна стояла.  
И вот она, моя душа,  
На окна чистые дыша,  
Прелестным пальчиком писала  
На отуманенном стекле  
Заветный вензель: О да Е.

<XXIV>

А между тем душа в ней ныла,  
И слез был полон робкий взор.  
Вдруг топот... Кровь ее застыла...  
Вот ближе, скачут — и на двор  
Евгений. — Ах! — И легче тени  
Татьяна прыг в другие сени.  
С крыльца во двор — и прямо в сад  
Она летит, взглянуть назад  
Не смеет — — мигом обежала  
Куртину, мостик и лужок  
<.....>  
По цветникам она к ручью —  
И задыхаясь на скамью —

## &lt;XXV&gt;

Упала. — Здесь он, здесь Евгений.  
 Что делать? Что подумал он?  
 И сердце полно сожалений,  
 И в ней надежды смутный сон,  
 И вся дрожит и жаром пышет,  
 И здесь его уж дева слышит...  
 Сбирали девушки  
 Кружовник

&lt;.....&gt;

И хором  
 По приказанью пели,  
 Чтоб тайно ягод между тем  
 Уста проказницы не ели.

## &lt;XXVI&gt;

Они поют, и эхо в поле  
 Разносит звонкий голос их.  
 Татьяна внемлет поневоле,  
 И трепет сердца в ней затих.

*Песня девушек*

Вышла Дуня на дорогу,  
 Помолившись Богу.  
 Дуня плачет, завывает,  
 Друга провожает.  
 Друг поехал на чужбину,  
 Дальнюю сторонку.  
 Ох, уж эта мне чужбина,  
 Горькая кручина!..  
 На чужбине молодежи,  
 Красные девицы.  
 Остаюсь я, молодая,  
 Горькою вдовицей —  
 Вспомяни меня, младую  
 Аль я приревную,  
 Вспомяни меня заочно,  
 Хоть и не нарочно.

Чтобы прошло ланит пыланье,  
 Но в персях — то же трепетанье,  
 И не проходит жар ланит,

Но ярче, ярче все горит.  
Так бледный мотылек и блещет,  
И бьется радужным крылом,  
Коварным пойманный перстом.  
Так зайчик в озиме трепещет  
<.....>

XXVII

И наконец она вздохнула  
И встала со скамьи своей,  
Пошла домой, но повернула  
В аллею      Перед ней  
В                                  Евгений  
Стоит подобно грозной тени,  
И, как огнем обожжена,  
Остановилась она.  
Последствия нежданной встречи  
Сегодня, милые друзья,  
Пересказать не в силах я.  
Я жажду после долгой речи  
И погулять, и отдохнуть...  
Окончу все когда-нибудь...

Третья глава так и останется самой короткой из всех глав романа, и более трети ее строф заняты лирическими отступлениями, которые предваряют сюжетное ядро повествования — Письмо Татьяны. Отныне именно ей будет отдана безусловная симпатия автора, который по-прежнему склонен сочувственно подсмеиваться над Онегиным и Ленским, но только не над Татьяной. Однако мысль о романе-путешествии пока у Пушкина не исчезает; недаром первая редакция «Песни девушек» («Вышла Дуня на дорогу...») предвещает разлуку героини с любимым, который едет «на чужбину, в дальнюю сторонку...». Отметим и трагическую ноту в ранней редакции письма героини: «Предвижу мой конец недальной...»

Одна из строф в лирических отступлениях третьей главы заслуживает специального анализа.

«Довольно любопытно, — вспоминала сестра поэта О.С. Павлицева, — что Пушкин носил перстень из корналина с восточными буквами, называя его талисманом, и что точно таким же перстнем запечатаны были письма, которые по-

лучал он из Одессы, — и которые читал с торжественностью, запершись в кабинете. Одно из таких писем он и сжег...»<sup>2</sup>

Наверное, от Е.К. Воронцовой Пушкин получил в Михайловском лишь одно письмо, но действительно тисненное печаткой на перстне. Биографы поэта неоднократно описывали его роман с женой своего одесского начальника и недруга. Пренебрегая позднейшими биографическими легендами, истинное положение дел мы можем представить по непосредственному свидетельству В.Ф. Вяземской, которая 1 августа 1824 г. писала мужу: «Приходится начать письмо с того, что меня занимает сейчас более всего, — со ссылки и отъезда Пушкина, которого я только что проводила до верха моей огромной горы, нежно поцеловала и о котором я плакала, как о брате, потому что в последние недели мы были с ним совсем как брат с сестрой. Я была единственной поверенной его огорчений и свидетелем его слабости, так как он был в отчаянии от того, что покидает Одессу, в особенности из-за некоего чувства, которое разрослось в нем за последние дни, как это бывает. Не говори ничего об этом, при свидании мы потолкуем об этом менее туманно, есть основание прекратить этот разговор. Молчи, хотя это очень целомудренно, да и серьезно лишь с его стороны...»<sup>3</sup>

Мы знаем точную дату получения в Михайловском письма от Е.К. Воронцовой; на л. 11 об. тетради ПД 835 в черновиках онегинских строф имеется помета:

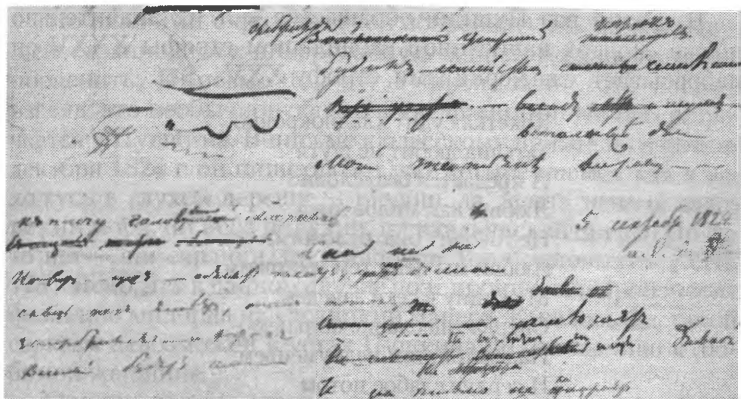
5 сент. 1824  
u. l. d. L.V.

Зашифрованная вторая строка давно разгадана<sup>4</sup>: «une lettre de Lise Voronzo» (письмо от Лизаветы Воронцовой). Любопытно, что вслед за пометой в черновике XXXIII строфы читаем:

Она зари не замечает,  
Сидит с поникшей головой  
И на письмо не напирает  
Своей печати вырезной.

Эта деталь, наверное, подсказана была поэту только что полученным одесским письмом (в вариантах сначала было: «И на письмо не опирает сердоликовую печать»).

Письмо от Воронцовой было уничтожено поэтом, о чем рассказано в его элегии «Сожженное письмо», беловой авто-



Шифрованная запись о письме от гр. Е.К. Воронцовой  
(ПД 835, л. 11 об.)

граф которого мы находим чуть ниже (л. 51) в той же рабочей тетради:

...Уж пламя жадное листы твои приемлет..  
Минуту!.. вспыхнули... пылают... легкий дым,  
Виясь, теряется с молением моим.  
Уж перстня верного утрата впечатленья,  
Растопленный сургуч кипит...

(II, 373)

Что же было в этом письме?

Неожиданную подсказку мы находим на следующей странице рабочей тетради. Она заполнялась в три слоя.

Первоначально, вскоре после 5 сентября на л. 12 вверху шла работа над черновиком следующей онегинской строфы, записанной чернилами. Нижняя часть листа оставалась в ту пору незаполненной, так как на обороте, отвлекшись от романа в стихах, Пушкин начал набело переписывать стихотворение «Морю» (в окончательной редакции: «К морю»). Вновь к работе на лицевой стороне л. 12 Пушкин обратился лишь спустя несколько дней. Теперь карандашом он пишет строфу XXXV, посвященную ночному разговору Татьяны с няней. Воспоминание об Е.К. Воронцовой все еще волнует поэта, одновременно с черновиком новой строфы он на полях (карандашом!) дважды рисует в полный рост уходящую вдаль графиню.

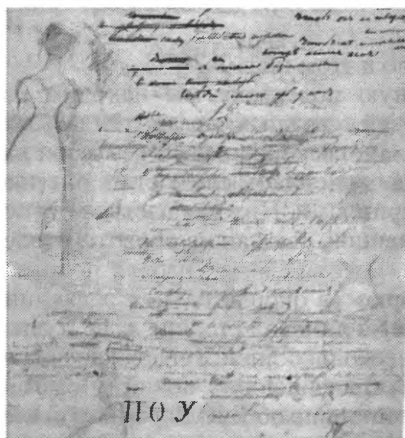
В третий раз Пушкин обращается к л. 12 значительно позже. Поверх написанной карандашом строфы XXXV он набрасывает, уже чернилами, строфу XXV:

Кокетка судит хладнокровно,  
Татьяна любит не шутя  
И предается безусловно  
Любви, как милое дитя.  
Не говорит она: отложим!  
Любви мы цену тем умножим,  
Мужчину в сети заведем,  
Сперва тщеславие кольнем —  
Надеждой, там недоуменьем,  
И сердце слабое потом  
Ревнивым утомим огнем;  
А то, скучая наслажденьем,  
Невольник хитрый из оков  
Всечасно вырваться готов.

(VI, 62)

Под этими строками Пушкин выводит три большие печатные буквы:

П О У



Портреты гр. Е.К. Воронцовой и аббревиатура П О У  
(ПД 835, л. 12)



По аналогии с французской аббревиатурой на предыдущей странице, эту зашифрованную запись можно уверенно прояснить: П<исьмо> О<т> У<оронцовой>. На первый взгляд, это необычное обозначение фамилии. Но оно встречается у Пушкина. В письме к одесскому приятелю в начале декабря 1824 г. он пишет: «Вот уже четыре месяца, как я нахожусь в глухой деревне — скучно, да делать нечего; здесь нет ни моря, ни неба полудни, ни итальянской оперы. Но зато нет — ни саранчи, ни милордов Уор.<онцовых>» (XIII, 128). Ясно, что в данном случае поэт иронически произносит фамилию милорда на «аглицкий манер». Казалось бы, такой сарказм невозможен в устах Пушкина по отношению к любимой женщине.

Однако важно понять, когда написана строфа XXV (а вместе с ней выведены буквы П О У). Она возникла после того, как был изготовлен беловой автограф главы ПД 933 (то есть никак не раньше середины 1825 г.), так как здесь этой строфы еще не было. Очевидно, готовя главу к печати, уже в 1827 г., Пушкин заново просматривал черновики и, развернув тетрадь на л. 12, вспомнил содержание письма от Воронцовой, изложив его в строфе XXV. Контраст между посланиями искренней Татьяны и светской дамы, слегка (словно невольно!) намеченный в сентябре 1824 г. («И на письмо не опирает сердоликовую печать»), — теперь становится разительным...



<sup>1</sup> См.: Летопись. Т. 1. С. 378.

<sup>2</sup> Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 38.

<sup>3</sup> Прометей. М., 1974. Т. 10. С. 30 (оригинал на фр. яз.).

<sup>4</sup> Рукою Пушкина. Выписки и записи разного содержания. Официальные документы. 2-е изд. М., 1997. С. 240.

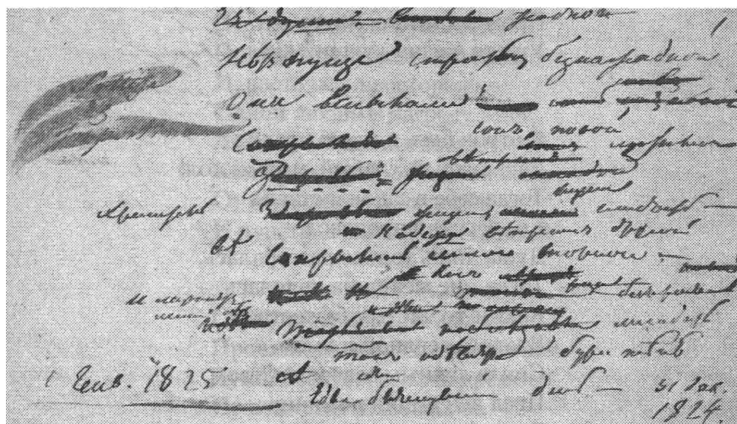
## На перепутье

Над четвертой главой Пушкин начал работать одновременно с подготовкой первой главы к печати. В начале 10-х чисел октября 1824 г. на л. 28 об. тетради ПД 835 (на л. 27 об. дата: 10 октября) появляются полторы строчки новой главы: «Сегодня вы ко мне писали / Не отпирайтесь». На л. 29 об. записываются строфы «Минуты две они молчали» и «Я жертва долгих заблуждений» (впоследствии ставшие строфами XII и IX четвертой главы), а в продолжение объяснения Онегина с Татьяной на л. 31 появляется строфа «Я отрок был и мною правил», в конце же октября — пока в составе исповеди Онегина набрасываются и другие строфы, посвященные резкой характеристике женщин. Работа над исповедью Онегина продолжена в конце ноября на л. 39 об., 41, 41 об. (на л. 40–40 об. — письмо к Вяземскому от 29 ноября) и на л. 50 об., 51 об., 52 (под последней из этих строф дата «1 генв. 1825»). В январе 1825 г. на л. 52 об. — 54 появляются строфы, намечающие новый фабульный поворот, который в окончательной редакции романа наступит только в главе седьмой: планы матери везти Таню в Москву на «ярманку невест».

Прояснить творческую историю четвертой главы отчасти помогает смазанная помета на левом поле л. 52: «Sottise et Impertinence» (Глупость и Нахальство). Это, по всей вероятности, авторская оценка получившейся у него вначале исповеди героя. Ранняя редакция зачина четвертой главы выглядела так (приводим только законченные вчерне строфы):

<I>

Минуты две они молчали,  
Но к ней Онегин подошел  
И молвил: «Вы ко мне писали,  
Не отпирайтесь, я прочел



Помета «Sotisse et Impertinence»  
(ИД 835, л. 52)

Души доверчивой признанья,  
 [Младого сердца] излиянья.  
 Мне ваша искренность мила,  
 Она в волненье привела  
 Давно умолкнувшие чувства —  
 Но выхвалять вас не хочу;  
 Я за нее вам отплачу  
 Признаньем также без искусства.  
 Узнайте исповедь мою,  
 Себя на суд вам отдаю.

<II>

Я жертва долгих заблуждений,  
 Разврата пламенных страстей,  
 И жажды сильных впечатлений,  
 И бурной [юности] моей.  
 Привычкой жизни избалован,  
 Одним когда-то очарован,  
 Разочарованный другим,  
 Всегда желанием томим  
 Скучая ветреным успехом,  
 Внимая в шуме и в тиши  
 Роптанье тайное души,  
 Зевоту заглушая смехом,

Провел я много, много лет,  
Утрата жизни лучший след.

## &lt;III&gt;

Я отрок был, и мною правил  
Ваш хитрый, слабый, милый пол,  
Тогда себе в закон я ставил  
Его летучий произвол.  
Душа лишь только разгоралась,  
Тогда мне женщина являлась  
Каким-то чистым божеством,  
Владела сердцем и умом,  
Сияла дивным совершенством,  
Пред ней я таял в тишине:  
Ее любовь казалась мне  
Недостижимым блаженством.  
Лишь умереть у милых ног —  
Иного я желать не мог.

## &lt;IV&gt;

То в ней чудовище я видел,  
Созданье злобных адских сил,  
Я трепетал и ненавидел —  
Алая ждал и слезы лил.  
Ее пронзительные взоры,  
Улыбка, слезы, разговоры —  
Все было в ней отравлено,  
Изменяю напоено;  
Все в ней, [казалось, каплет ядом],  
Она являлась мне змеей,  
То вдруг я мрамор видел в ней,  
Покрытый [видимым] нарядом,  
Еще холодной и немой,  
Но скоро нежной и живой.

## &lt;V&gt;

Смешон, конечно, важный модник,  
Систематический Фоблас,  
Красавиц записной угодник —  
Хоть поделом он мучит вас,  
Но жалок тот, кто без искусства,  
Души возвышенные чувства,

[Прелестной] веруя мечте,  
Приносит в жертву красоте  
И, расточась неосторожно,  
Одной любви в награду ждет,  
Любовь в безумии зовет,  
Как будто требовать возможно  
От мотыльков и от лилей  
И чувств, и мыслей, и страстей.

## &lt;VI&gt;

Страстей мятежные заботы  
Прошли, не возвратятся вновь!  
Души бесчувственной дремоты  
Не возмутит уже любовь —  
Пустая красота порока  
Блестит и радует до срока.  
Пора! проступки юных дней —  
Загладить жизнью моей! —  
Молва, играя, очернила  
Мои начальные лета,  
Ей помогла и клевета  
И дружбу только что смешила,  
Но, к счастью, суд [молвы] слепой  
Опровергается порой!..»

## &lt;VII&gt;

Так проповедовал Евгений —  
Едва дыша, без возражений,  
Сквозь слез не видя ничего,  
Татьяна слушала его.  
Он подал руку ей; печально  
(Как говорится, махинально)  
Татьяна молча оперлась.  
Главою томною склонясь,  
Пошли они вкруг огорода,  
Явились [вместе], и никто —  
Не думал им пенять на то.  
Имеет сельская свобода  
Свои старинные права,  
Как и спесивая Москва.

## &lt;VIII&gt;

Но ты — губерния Псковская,  
 Теплица юных дней моих,  
 Что может быть, страна глухая,  
 Несносней барышень твоих?  
 Меж ими нет — замечу кстати —  
 Ни тонкой вежливости знати,  
 Ни [ветрености] милых шлюх —  
 Я, уважая русский дух,  
 Простил бы им их сплетни, чванство,  
 Фамильных шуток остроту,  
 Порою зуб нечистоту,  
 И непристойность, и жеманство,  
 Но как простить им [модный] бред  
 И неуклюжий этикет.

## &lt;IX&gt;

Что было следствием свиданья,  
 Дружья, не трудно угадать:  
 Татьяны [томные] мечтанья  
 Не перестали волновать  
 [Ее души], печали жадной.  
 Нет, пуще страстью безотрадной  
 Она вспылала: сон, покой,  
 Здоровье, мотылек [младой],  
 Хранитель жизни, жизни сладость —  
 Надежда, ветрогон другой —  
 Все скрылись легкою толпой,  
 И меркнет милой девы младость.  
 Так одеваает бури тень  
 Едва, едва блеснувший день.

## &lt;X&gt;

Увы, Татьяна увядает,  
 Бледнеет, гаснет и молчит —  
 Ничто ее не занимает,  
 Ее души не шевелит —  
 [Родня] качает головою,  
 Соседи шепчут меж собою:  
 Пора, пора бы замуж ей.  
 Мать так же мыслит — у друзей  
 Тихонько требует совета —

Друзья советуют зимой  
В Москву подняться всей семьей —  
Авось в толпе большого света  
Татьяне сыщется жених  
Милей и счастливей других.

## &lt;X&gt;I

Не в первый раз моей Татьяне  
Уж называли женихов.  
Семейство Лариных заране  
Поздравить всякой был готов.  
Ее искали, но доселе  
Она отказывала всем —  
Старуха-мать гордилась тем —  
Соседи [всех именовали]  
И всех по пальцам перечли,  
Там до Онегина дошли,  
[Потом усердно рассуждали]  
И предрекали уж развод  
[много] через год.

## &lt;XII&gt;

Старушка очень полюбила  
Благоразумный их совет —  
В столицу [ехать] положила,  
Как только [будет] зимний след.  
Уж небо осенью дышало,  
Уж реже солнышко блистало,  
Короче становился день,  
Лесов таинственная сень  
С печальным шумом обнажалась,  
Ложился на поля туман,  
Гусей крикливых караван  
Тянулся к югу — приближалась  
Довольно скучная пора  
[Зима стояла] у двора.

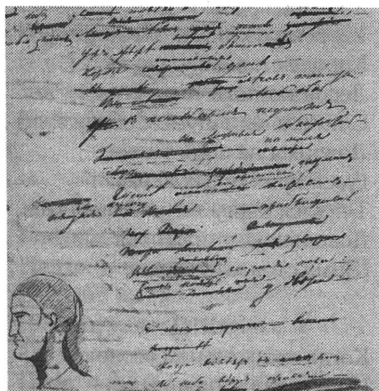
## &lt;XIII&gt;

Когда повеет к нам весною  
И небо вдруг оживлено —  
Люблю поспешною рукою  
Двойное выставить окно,

С каким-то грустным наслаждением  
 Я упиваюсь дуновеньем  
 [Живой] прохлады — но весна  
 У нас не радостна — она  
 Богата грязью, не цветами,  
 Напрасно манит жадный взор  
 [Лугов] пленительный узор,  
 Певец не свищет над водами,  
 Фиалок нет и вместо роз  
 В полях растоптанный навоз.

## &lt;XIV&gt;

Что наше северное лето —  
 Карикатуры южных зим? —  
 Мелькнет и нет — известно это  
 Хоть мы признаться не хотим.  
 [Мы точно пасынки природы,  
 Питомцы вечной непогоды,  
 С зимою только дружим мы,  
 Мы знаем только хлад зимы],  
 [Пустыни ярко снеговые],  
 Где свищут подрези саней —  
 [Средь] [хладно] пасмурных ночей,  
 Кибитки, песни удалые,  
 Двойные стекла, банный пар,  
 Халат, лежанка и угар.



Черновик строф первой редакции  
 четвертой главы (ПД 835, л. 53 об.)



Вполне очевидно, что автор готовится здесь поскорее, по зимнему пути, отправить свою героиню в Москву. Само же утрированное описание русской природы как преимущественно северной, наверное, вызвано мысленным общим планом романа, который предполагается вывести на заграничные просторы (ср. аналогичное сопоставление в «Каменном госте»: «А далеко на севере, в Париже...»).

С московской же перспективой данной главы связано, по всей вероятности, и замечание в письме к брату от 22 апреля 1825 г.: «Толстой у меня явится во всем блеске в 4-ой песне Онегина» (XIII, 163). Это вовсе не значит, конечно, что «Толстому» предназначалась какая-то сюжетная роль: просто при появлении Татьяны в московский свет было вполне уместно заметить колоритную фигуру Толстого-Американца<sup>1</sup>.

При таком развитии фабулы столкновения Онегина и Ленского, очевидно, не предполагалось; тем примечательнее, что в конце января — начале февраля 1825 г. пишутся строфы XXV–XXVII (VI, 361–363), посвященные Ленскому. По-видимому, ему был уготован брак с Ольгой и судьба, предполагаемая автором как одна для него из возможных: «В деревне счастлив и рогат / Носил бы стеганный халат...» Татьяне же, напомним, еще в предыдущей главе предвещалась ранняя смерть.

А что ж Онегин?

На л. 65–68 об. Пушкин пишет строфы об Одессе («Я жил тогда в Одессе пыльной...» и пр.) — следовательно, делает попытку форсировать сюжет романа-путешествия. В переработанном виде эти строфы позже войдут в главу «Странствие», где будет намечена встреча героя с автором. Судя по всему, в начале 1825 г. это должно было произойти уже в четвертой главе, когда сам поэт предпринимает отчаянные попытки добиться переезда в Ригу якобы для лечения аневризмы, а на самом деле планирует собственный побег в края иные. Эта мечта прорывается в лирических строках поэта. Летом 1825 г., обращаясь к П.А. Осиповой, он скажет:

Быть может, уж недолго мне  
В изгнанье мирном оставаться,  
Вздыхать о милой стороне  
И сельской музе в тишине  
Душой беспечной предаваться.

Но и в дали, в краю чужом,  
 Я буду мыслию всегдашней  
 Бродить Тригорского кругом...  
 (II, 395)

Но характерно, что в строфе XII ранней редакции четвертой главы о «губернии Псковской» автор романа отзывается иначе и называет ее «теплицей юных дней», то есть относит эти впечатления к своим послелицейским годам (согласно «расчисленному по календарю» времени романа).

В предвосхищении «поэтического побега» — лирика Пушкина михайловской поры насыщается инонациональной тематикой: испанской («Ночной зефир...»), арабской («Подражания Корану»), африканской («Клеопатра»), итальянской («Под небом голубым страны своей родной...»), французской («Андрей Шенье»), бразильской («С португальского»).

Только в конце 1825 г., когда надежда на поездку в Ригу (с дальнейшим бегством за рубеж) оказалась неосуществленной, события в романе снова получили свое продолжение в деревне.

С л. 70 тетради ПД 835 начинается сплошной онегинский текст — сначала с перепланировки начала четвертой главы. С л. 75 работа идет карандашом и в тексте стихов много исправлений. Однако строфы карандашом записывались набедро с какого-то не дошедшего до нас черновика: в нижнем слое рукописи отчетливо различается первоначально уже отформированный текст. На л. 77 работа над четвертой главой завершается: ставится охватывающая скобка и дата «3 генв.» 1826 г.

Ленский счастлив в ожидании свадьбы, которая должна состояться через две недели. А пока друзья собираются в ближайшую субботу к Лариным на именины Татьяны...

Но все содержание романа постоянно строится как бы на обманутом ожидании читателя, а фактически — на неисполнении авторских прогнозов. «Сюжет “Онегина”, — справедливо констатирует Е.С. Хаев, — похож на черновик, в котором реальностью является соединение фрагментов, относящихся к разным вариантам замысла, а возможностью — реализация одного из этих вариантов»<sup>2</sup>. «Жизненный процесс, как и поэтический, — углубляя тему, пишет о том же С.Г. Бочаров, — имеет творческие варианты, и эта глубокая

перекличка, почти что отождествление того и другого процессов, можно сказать, залегает в структуре «Онегина»<sup>3</sup>.



<sup>1</sup> Это замечание обычно связывают с образом Зарецкого в шестой главе романа. Думается, в 1825 г. Пушкин предполагал ввести в роман отчетливо столь же распознаваемую «личность» Ф. Толстого, как и в «Горе от ума» («Ночной разбойник, дуэлист...» и пр.).

<sup>2</sup> Хаев Е. Проблема фрагментарности сюжета «Евгения Онегина» // Хаев Е. Болдинское чтение. Нижний Новгород, 2001. С. 93–94.

<sup>3</sup> Бочаров С.Г. О возможном сюжете: «Евгений Онегин». С. 20.

## *Исчезнувшая глава*

*В* болдинском плане романа, где зафиксированы годы и место работы над отдельными главами, помечено, что, созданные в Михайловском, глава пятая («Именины») писалась в 1825–1826 гг., а глава шестая («Поединок») — в 1826 г.

Автографы пятой главы сохранились хотя и не целиком, но достаточно полно во Второй и Третьей масонских тетрадях (ПД 835 и ПД 836)<sup>1</sup>. Рукописи же шестой главы, за исключением небольших фрагментов<sup>2</sup>, исчезли.

Обычно считается, что строфы этих глав Пушкин писал одновременно, то есть якобы начал работать над шестой главой, не закончив пятой. Но тогда тем более невероятна избирательность в пропаже онегинских черновиков шестой главы. Если же при этом вспомнить, что черновая работа над онегинскими главами велась, как правило, в рабочих тетрадях попеременно со многими другими замыслами, то становится совершенно очевидно, что в данном случае речь может идти об исчезновении целой рабочей тетради.

Так оно и было на самом деле.

Вспоминая, со слов поэта, об отъезде Пушкина по высочайшему повелению из Михайловского в Москву в начале сентября 1826 г., П.В. Нащокин впоследствии рассказывал: «Послан был нарочный сперва к псковскому губернатору с приказом отпустить Пушкина. С письмом губернатора этот нарочный прискакал к Пушкину. Он в это время сидел перед печкою, подбрасывал дров, грелся. Ему сказывают о приезде фельдъегеря. Встревоженный этим и никак не ожидавший чего-либо благоприятного, он тотчас же схватил свои бумаги и бросил их в печь: тут погибли его записки и некоторые стихотворные пьесы, где предсказывались совершившиеся уже события 14 декабря»<sup>3</sup>.

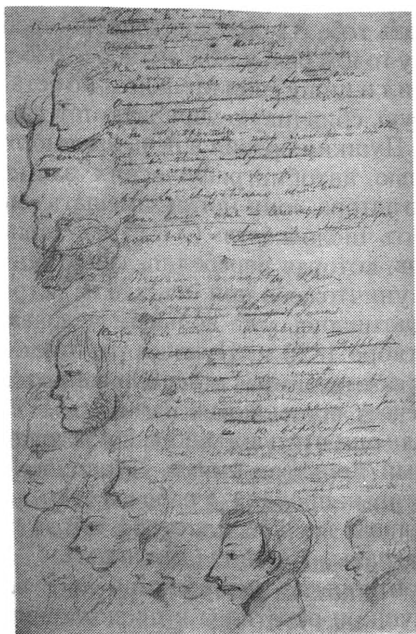
«Что сказать тебе о моих занятиях? — сообщал Пушкин П.А. Катенину годом раньше, в сентябре 1825 г. — Стихи покамест я бросил и пишу свои Memoires, то есть переписываю набело скучную, сбивчивую черновую тетрадь» (XIII, 225). Скорее всего, Пушкин бросил в печь именно тетрадь с белой рукописью автобиографических записок, так как, по признанию автора, «они могли замешать многих и, может быть, увеличить число жертв» (XII, 310). Черновая же рукопись мемуаров, которая перебеливалась с сентября 1825 г., едва ли была уничтожена при отъезде на встречу с императором<sup>4</sup>. Возвратившись уже вольным человеком в Михайловское в октябре 1826 г., Пушкин работает над запиской «О народном воспитании», в черновике которой время от времени помечает вставки: «из Записок» — следовательно в каком-то виде они в это время были у него под рукой<sup>5</sup>. Наряду с другими произведениями Пушкина 1825–1826 гг., черновики которых пропали, в рабочей тетради, по-видимому, были рукописи нескольких строф пятой главы и целиком — шестой главы «Евгения Онегина».

Во время октябрьско-ноябрьской 1826 г. поездки в Михайловское Пушкин обратился к продолжению работы над пятой онегинской главой. В Третьей масонской тетради (ПД 836) он наряду с запиской «О народном воспитании» пишет и строфы с описанием гостей, съезжающихся на бал к Лариным. Следов же доработки шестой (по нынешней нумерации) главы не сохранилось. Здесь, казалось бы, напрашивается простое объяснение: глава пятая сначала вышла на треть короче должного размера (подобный прецедент, как мы помним, случился с первоначальной редакцией третьей главы). Однако более вероятно иное: к сентябрю 1826 г. все содержание романа от исповеди Онегина до роковой его дуэли с Ленским занимало, очевидно, не две, а лишь одну главу.

Дело в том, что к работе над пятой главой Пушкин приступил, как было уже отмечено, в самом начале 1826 г., когда до него дошли известия не только о восстании 14 декабря, но и об аресте заговорщиков. Онегинский текст повествует о страшном пророческом сне героини, а на полях тетради ПД 835 (л. 80 об. и 81 об.) появляются зарисовки портретов Пестеля, Рылеева, Пущина, Кюхельбекера.

Выразительная деталь: в конце тетради ПД 835 (два самых последних листа в ней были уже к этому времени заполнены другими произведениями) Пушкин пишет строфу XX:

*Электронная библиотека Пушкинского Дома*



Портреты декабристов  
(ПД 835, л. 81 об.)

...вдруг Ольга входит  
За нею Ленский. Свет блеснул  
Онегин руку замахнул  
И дико он очами бродит  
И незваных гостей бранит  
Татьяна чуть жива лежит —

Для следующей строфы, исчерпывающей содержание сна, Пушкин находит место в той же тетради на л. 64 — среди черновиков элегии «Андрей Шенье»:

Спор громче громче — вдруг Евгений  
Хватает длинный нож — и в миг  
Повержен Ленский — страшно тени  
Сгустились вновь — и странный крик  
Раздался — хижина шатнулась —  
И Таня в ужасе проснулась.

(VI, 393)

Мог ли в то время Пушкин отвлекаться на пространные комические описания ларинских гостей? Психологически трудно представить это. В то время сюжет, скорее всего, стремительно двигался от изложения пророческого сна героини к рассказу о нелепой гибели прекраснодушного мечтателя. Не выходя и здесь за сферу быта, намеченную изначально, автор «Евгения Онегина» словно проигрывал историческую коллизию в самой фабуле романа.

Психологически более оправданной нам представляется и работа Пушкина в самом конце 1826 г. над некоторыми строфами как пятой, так и шестой главы, в которых, несмотря на общую трагическую коллизию сюжета, тем не менее проскальзывает то и дело ироническая авторская интонация — и не только в описании сельского бала. Вероятно, это стало возможно лишь тогда, когда непосредственная боль при известии об участии друзей уже несколько притупилась, когда на трагедию 14 декабря Пушкин смог взглянуть уже более или менее остраненно, или — по собственному определению — «взглядом Шекспира».

Неоднократно отмечалось, что в Ленском отчетливо отразились, в художественно преображенном виде, некоторые приметы личности Кюхельбекера, и более того — черты лирического героя его ранней поэзии.

Так, в одной из строф (написанной вчерне, очевидно, до 14 декабря) четвертой главы автор романа иронически замечает:

Но критик строгий  
Повелевает бросить нам  
Элегии венок убогой  
И нашей братье рифмачам  
Кричит — да перестаньте плакать  
И всё одно и то же квакать,  
Жалеть о прошлом, о былом —  
Довольно — пойте о другом.  
Ты прав и верно нам укажешь  
Трубу, личину <и> кинжал

Отвсюду воскресить прикажешь —  
Не так ли? Куда!  
Пишите оды, господа.

(VI, 367–368)

Спор этот был начат год назад, сразу же после того, как Пушкин ознакомился со статьей Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической в последнее десятилетие» («Мнемозина», 1824. Ч.2). Подобным же упрекам за nepoзвoлитeльную «легкость» его поэзии Пушкин подвергался и в письмах А. Бестужева и К. Рылеева. В предисловии к первой главе романа, написанном летом 1825 г., отмечено: «Станут осуждать и антипоэтический характер главного героя, сбивающегося на Кавказского пленника, также некоторые строфы, писанные в утомительном роде новейших элегий, в коих *чувство уныния поглотило все прочее*» (VI, 638; подчеркнутые слова — цитата из статьи в «Мнемозине»). В одной из строф (написанной в ноябре 1826 г.) пятой главы романа в продолжение этого спора будет дана пародия на ломоносовскую оду («Но вот багряною рукою» и пр.).

Приверженность высоким идеалам с самого начала была подчеркнута и в Ленском:

Он верил, что друзья готовы  
 За честь его принять оковы  
 И что не дрогнет их рука  
 Разбить сосуд клеветника,  
 Что есть избранные судьбами,  
 Людей священные друзья;  
 Что их бессмертная семья  
 Неотразимыми лучами  
 Когда-нибудь все озарит  
 И мир блаженством одарит.  
 (VI, 34)

Здесь уже предвосхищена исподволь та мера разочарования в Онегине, которая и подвинула Ленского к гибельному шагу (строфа эта была заново переработана в беловике, когда сюжет романа устремился к поединку). Не исключено, что и в сцене дуэли содержится отклик на известную, разошедшуюся во многих списках оду Кюхельбекера (она приписывалась также Рылееву) «На смерть Чернова», ярчайшее произведение декабристской поэзии:

...На наших дев, на наших жен  
 Дерзнет ли вновь любимец счастья  
 Взор бросить, полный сладострастья,  
 Падет, перуном поражен...<sup>6</sup>



И здесь важно несовпадение должного и реального: «перуны» не касаются «любимца счастья», Онегина, а поражают «сына чести».

Но вот что любопытно: Ленский как раз и пишет элегии («Владимир и писал бы оды, / Да Ольга не читала их»). Набрасывая предсмертные его стихи «Куда, куда вы удалились, / Весны моей златые дни...», Пушкин с доброй иронией откликается (о чем уже говорилось выше) на стихотворение Кюхельбекера, присланное ссыльному поэту из Германии в самом начале работы над романом в стихах.

Ленский погиб в глуши, на нелепой дуэли, безмерно высоко подняв планку ответственности за нарушение «священных прав». Обычно как-то остается в тени, что он вышел к барьеру с самыми серьезными намерениями. Если Евгений выстрелил не целясь, то Владимир (это специально отмечено автором) всерьез «жмурил левый глаз». Он не просто прекраснодушный мечтатель, он с молодой отвагой и бескомпромиссностью готов к действию, готов даже ценой жизни отстаивать высокие идеалы.

Прощаясь с Ленским, автор включает этот образ в общую картину мироздания, вечной жизни природы, глубинных народных истоков культуры:

Есть место, влево от селенья,  
Где жил питомец вдохновенья,  
Две сосны корнями срослись;  
Под ними струйки извились  
Ручья соседственной долины.  
Там пахарь любит отдыхать,  
И жницы в волны погружать  
Приходят звонкие кувшины.  
Там у ручья в тени густой  
Поставлен памятник простой,  
Под ним (как начинает капать  
Весенний дождь на злак полей)  
Пастух, плетя свой пестрый лапоть,  
Поет про волжских рыбаей...

(VI, 134)

Это сюжетное возвышение героя не случайно. Автор на протяжении всего романа заинтересованно и пытливо вглядывается в черты и Онегина, и Ленского, так как в них — в каждом по-особому — запечатлены и некие собственные,

авторские свойства. На лирическом уровне поэт постоянно чувствует духовное с ними родство, испытывает душевную боль за несчастливо сложившиеся их судьбы.

Впоследствии Ленский будет прямо уподоблен автору романа в стихах. В элегии «На смерть поэта» М.Ю. Лермонтов скажет:

И он убит и взят могилой,  
 Как тот певец, неведомый, но милый,  
 Добыча ревности глухой,  
 Воспетый им с такою чудной силой,  
 Сраженный, как и он, безжалостной рукой<sup>7</sup>.

В опере П.И. Чайковского предсмертные стихи Ленского будут начисто лишены пародийного звучания. И точнее всего выразит восприятие участи русских поэтов (в этом ключе воспринимали и Ленского) Вильгельм Кюхельбекер:

Горька судьба поэтов всех времен;  
 Тяжелей всех судьба казнит Россию...<sup>8</sup>

Возвращаясь же к творческой истории романа, сформулируем в итоге, как, на наш взгляд, складывалась работа над произведением в 1825–1826 гг.

В не дошедшем до нас черновике была до декабря 1825 г. по-новому прописана четвертая глава, которая уже не должна была повествовать об отъезде героини в Москву после ответа Евгения на ее страстное письмо. Набело окончание главы переписывается карандашом (и по ходу исправляется) в последние дни года в тетради ПД 835 и сразу же здесь пишутся двадцать строф следующей главы. Тетрадь закончена, и работа над главой переносится в другую тетрадь, в которой, очевидно, находились черновики автобиографических записок и которую Пушкин, конечно же, не взял с собой, отправляясь по вызову императора в Москву в начале сентября 1826 г. После двухмесячного пребывания в Москве поэт возвращается в Михайловское и здесь дорабатывает главу, подробно прописывая, в частности, портреты «оригиналов» из толпы гостей, собравшихся на бал к Лариным. Ряд черновиков таких строф (теперь уже особой, пятой главы) записывается в тетради ПД 836, а остальное (в том числе почти целиком глава шестая) — вероятно, в той тетради, где содержался черновик опасных автобиографических записок поэта. Вместо одной главы теперь получают две, обозначен-

ные как пятая и шестая. Пятая глава набело переписывается 22 ноября 1826 г. (автограф ПД 935); беловик же следующей главы ныне утрачен. Тетрадь с черновиками автобиографических записок (там были рукописи и других произведений, в том числе — онегинские) уничтожается, как и двумя месяцами ранее — беловой автограф мемуаров.

Впрочем, пока еще Пушкин не воспринимает свою работу над пятой и шестой главами романа как совершенно исчерпанную. Об этом свидетельствует шутливое его замечание в письме к Вяземскому из Пскова от 1 декабря 1826 г.: «В Пскове вместо того, чтобы писать 7-ую главу, проигрываю в штосс четвертую; не забавно» (XIII, 310). Четвертая глава в это время вовсе не готовилась еще к изданию: она выйдет в свет вместе с пятой лишь в начале 1828 г. Но она уже вполне готова, а рукопись, как известно, «можно продать» (а значит, и проиграть). «Проигрывать же в штосс» две следующие главы он как честный человек пока не может, так как они еще не вполне, в его представлении, готовы. Действительно, строфы лирического заключения шестой главы выльются из-под пера только почти через год, 19 августа 1827 г., — они кончаются красноречивым признанием:

...Довольно! Ныне всей душою  
Благодаряю новый путь  
Туда, где мечу отдохнуть.  
(VI, 410)

Как видим, перспектива романа-путешествия для Пушкина не пропадает, как не исчезает и надежда вырваться за границы России. «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног, — пишет Пушкин Вяземскому 27 мая 1826 г., — но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство. Ты, который не на привязи, как ты можешь оставаться в России? Если царь даст мне *свободу*, то я месяца не останусь. Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, англ<ийские> журналы или парижские театры и бордели — то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-ой песне Онегина я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милою улыбкой: где ж мой поэт? в нем дарование приметно — услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится — ай-да умница» (XIII, 280).



<sup>1</sup> Часть строф пятой главы вчерне были записаны в тетради ПД 836 (старый шифр ЛБ 2368), что не вполне точно указано в Большом академическом издании, где строфы XXXII–XXXVIII обозначены как находящиеся в тетради ПД 835 (старый шифр ЛБ 2370) — см. VI, 401–406.

<sup>2</sup> Из черновиков шестой главы сохранились лишь три строфы лирического заключения ее, написанные не раньше 1827 г.

<sup>3</sup> Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 225–226.

<sup>4</sup> О судьбе рукописей с автобиографическими записками см.: Козмина Л.В. Автобиографические записки А.С. Пушкина 1821–1825 гг.: Проблемы реконструкции. М., 1999.

<sup>5</sup> О том, что в конце 1826 г. в Михайловском черновик автобиографических записок еще сохранялся, свидетельствует письмо Пушкина Вяземскому от 9 ноября: «Сейчас перечел мои листы о Карамзине — нечего печатать» (XIII, 305).

<sup>6</sup> Кюхельбекер В.К. Избранные произведения. Т. 1. С. 207.

<sup>7</sup> Лермонтов М.Ю. Полн. собр. соч. М.; Л., 1961. Т. 1. С. 413.

<sup>8</sup> Кюхельбекер В.К. Избранные произведения. Т. 1. С. 314.

## *А иде Онегин?..*

Шестая глава подводила итог первоначальным событиям романа; в марте 1828 г. она вышла из печати с пометой в конце текста: «Конец первой части». А между тем начало второй части к этому времени никак не складывалось.

Еще год назад в «Московском вестнике» (1827. Ч. V. № I) были напечатаны под названием «Одесса» и обозначенные как «отрывок из седьмой главы “Евгения Онегина”» строфы, написанные в 1825 г. В июле–августе 1827 г. среди черновиков «Арапа Петра Великого» в тетради ПД 836 записываются строфы о приезде Татьяны в Москву, что предполагалось в начале 1826 г. описать в составе четвертой главы. Тогда же на л. 29 появляется черновик строфы, позже перенесенной в главу «Странствие»:

Итак я жил <тогда в Одессе>  
<Не> помнил <о> [потере] дней  
[Забыв] о пасмур<ном> повесе  
Герое повести моей  
Онегин предо мною  
Не хвастал дружбой почтовою  
А я <ленивый> человек  
Не мог вести во весь свой век  
Я переписки постоянной<sup>1</sup>  
И ссоре даже рад иной  
Чтобы избавиться порой  
От этой пытки беспрестанной  
Тому причина право лень  
Почтовый день — мой черный день —  
(VI, 491)

Позже, в главе «Странствие», эти строки будут предшествовать описанию встречи автора с героем. Очевидно, такая

мысль мелькнула у Пушкина уже в ходе работы над седьмой главой. Работа над онегинским текстом будет продолжена в феврале 1828 г. в тетради ПД 838, но здесь шел рассказ о посещении Татьяной усадьбы Онегина после его отъезда неизвестно куда, а также давалось содержание любопытного «Альбома Онегина», «в котором сердце изливал» он «в дни свои молодые» (при публикации главы «Альбом» будет опущен)<sup>2</sup>. Несколько позже в той же тетради Пушкин расскажет, как, ознакомившись с кругом чтения своего героя и его пометами на книгах, Татьяна ужаснется: «Уж не пародия ли он?!» И только после этого автор вспомнит о реальной судьбе заглавного героя, но так и не сможет сказать о нем что-нибудь достоверное:

С ее открытием поздравим  
Татьяну милую мою —  
И в сторону свой путь направим  
Чтоб не забыть о ком пою  
Убив неопытного друга  
Томленье [сельского] досуга  
Не мог Онег<ин> [перенести]  
[Решился он в кибитку сесть] —  
[Раздался] колокольчик звучный  
Ямщик удалый засвистал  
И наш Онегин поскакал  
[Искать отраду жизни] скучной —  
По отдаленным сторонам  
Куда не зная точно сам

(VI, 442)

Но дальше рассказ опять сбивается на приготовления героини к отъезду по зимнему пути, на прибытие ее в Москву и описание ее первых впечатлений о московской публике, довольно безотрадных, — пока на л. 74 об. тетради ПД 838 не появится следующая строфа:

Так мысль ее [далече бродит]  
Забут и свет и шумный бал  
А глаз меж тем <с нее> не сводит  
Какой-то [старый] генерал —  
Друг с другом тетушки мигнули  
И обе девушку толкнули  
И каждая шепнула ей —

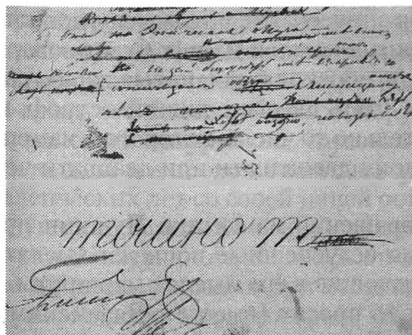
— Взгляни налево поскорей  
— Налево, где же, что такое  
— Ну, что бы ни было, гляди —  
Пред этой самой — впереди —  
Там где стоят в мундирах двое —  
Вот отошел, вот боком стал,  
— Кто, старый этот Генерал?  
(VI, 462)

Значительно позже<sup>3</sup> на оставшейся пробельной части  
страницы Пушкин выведет:

ТОШНО Так  
Аминь

Пока же на следующей странице записывается набросок  
строфы:

Пою — слог настроя  
Я полурусского героя  
И множество его причуд  
Одушеви мой долгий труд  
О ты эпическая Муза —  
[посох] мне вручив  
Не дай блуждать мне вкось и вкрив  
Довольно — с плеч долой обуза  
Я классицизму отдал честь  
Хоть поздно, а воззвание есть  
(VI, 462–463)



Помета «ТОШНО Так. Аминь»  
(ПД 838, л. 74 об.)

Этой строфой суждено было заключить всю седьмую главу, в которой автор-таки и проплутал «вкось и вкрив», не встретившись с Онегиным. Последняя строка в печатном тексте будет изменена: «Хоть поздно, а вступленье есть», — вступление ко второй части романа, столь же, вероятно, по замыслу пространной, как и первая часть, насчитывавшая шесть глав.

Но пока в ноябре 1828 г. Пушкин все же еще надеется ввести в эту главу Онегина, набрасывая 9–10 ноября 1828 г. план (единственный во всех онегинских рукописях!):

[Цыганка]  
[Зима]  
Дорога  
Москва  
Генерал  
Одесса

(ПД 102)

Это, как вполне понятно, давно автором запланированная попытка привести героя в Одессу и снова встретиться с ним. Однако одесские строфы романа, написанные тремя годами ранее, так и остаются все еще не востребованными в тексте романа.

Причины этого следует искать в общей «форме» онегинского плана и в личной судьбе самого Пушкина.

Сама наметка о числе глав романа, кратных шести, ориентирует его все на тот же «Дон-Жуан» Байрона, где время от времени читателям обещалось:

«Поэма моя эпическая и, по замыслу, должна делиться на двенадцать книг; в каждой из них будет содержаться и любовь, и война, и морские бури, новые характеры...» (1, 200); «...я покончил опять двести с лишним строф, как и прежде; это приблизительно то число, которого я намерен держаться в каждой из моих двенадцати или двадцати четырех песен» (2, 216).

После возвращения из ссылки Пушкин предпринимает постоянные, но безуспешные попытки выехать за границу, причем возникающие в его мыслях маршруты — самые причудливые. Он то просит (вместе с Вяземским) разрешения отправиться на Балканы «в действующую против турок армию», то обсуждает с тем же Вяземским, а также с Грибоедовым и Крыловым план совместного «европейского набега»,



то пытается определиться в китайскую миссию с бароном П.Л. Шиллингом фон Конштадтом.

Именно потому, вероятно, и онегинский маршрут остается для него неясен.

Показательно, что не позже 1827 г. он набрасывает заметку, напечатанную в альманахе «Северные цветы на 1828 год» в составе «Отрывков из писем, мыслей и замечаний»<sup>4</sup>:

«Байрон говорил, что никогда не возьмется описывать страну, которой бы не видал бы собственными глазами. Однако ж в “Дон-Жуане” описывает он Россию, зато приметны некоторые погрешности противу местности...» (XI,55).

Косвенным подтверждением связи этой заметки с работой над «Евгением Онегиным» служит явная переключка между нею и текстом строфы XXXV седьмой главы:

Зато зимы порой холодной  
Езда приятна и легка;  
Как стих без мысли в песне модной,  
Дорога зимняя гладка.

(VI, 154)

Ср. в заметке: «Например, он говорит о грязи улиц Измаила; Дон Жуан отправляется в Петербург в кибитке, беспокойной повозке без рессор, по дурной, каменистой дороге. Измаил был взят зимою, в жестокий мороз... Зимняя кибитка не беспокойна, а зимняя дорога не камениста. Есть и другие ошибки, более важные...» (XI, 55).

Так и не решив для себя, куда отправить Онегина, Пушкин занялся описанием судьбы Татьяны.

Явившись во второй главе, по воле автора, сельской барышней, воспитанной на французских романах, а потому и объяснявшейся «с трудом на языке своем родном», Татьяна от главы к главе все более и более обнаруживает незаурядные свойства своей натуры: она «русская душою», что раскрывается в гаданье и в пророческом сне героини (видно, общение с младенческих лет со своей няней оставило глубокий след в ее душе); любовь к Онегину стимулирует ее желание понять этого незаурядного человека и помогает духовно стать с ним вровень, сохранив при этом живое чувство и чуткую восприимчивость мира, которых, казалось бы, уже безвозвратно лишен Онегин. Впрочем, роман еще пока, по мысли автора, в зените и жизненный путь героя непредсказуем...



<sup>1</sup> В данном случае запечатлено явное отличие Автора романа от реального А.С. Пушкина.

<sup>2</sup> См.: *Иезуитова Р.В.* «Альбом Онегина»: (Материалы к творческой истории) // Временник Пушкинской комиссии. Л., 1989. Вып. 23.

<sup>3</sup> Эта каллиграфическая запись сделана стальным (а не гусиным!) пером, которым Пушкин работал в этой тетради над стихотворением «Осень» в 1833 г.

<sup>4</sup> Вероятно, «Отрывки» эти сохранили отзвуки сожженных Пушкиным «автобиографических записок».

## «Вздыхать о сумрачной России...»

В марте 1829 г. Пушкин задумывает издать собрание своих сочинений<sup>1</sup> и составляет его план (ПД 714)<sup>2</sup> с обозначением возможной цены за каждую книжку. «Евгений Онегин» здесь оценен в 45 рублей, то есть по пяти — за каждую главу, а ниже произведен подсчет возможной общей выручки за роман, исходя из тиража в 3000 экземпляров (Пушкин всегда заблуждался насчет доходов от своей «торговли стишистой»):

$$\begin{array}{r} 45 \\ \underline{3000} \\ 135,000 \end{array}$$

К этому времени вышли в свет только шесть глав произведения, но, кажется, теперь поэт уже решил не писать еще

3,000. Пушкин и Лодкин (1820) 60  
700 Кавч. поэта (1821) 10  
600 Бюбл. роман (1822) 10  
300 Братия профитанда (1822) 5  
600 Убравы (1824) 5  
500 Гр. Кушар (1825) 5  
1,300 Намыка (1827) 10  
3,000 Тор. Тодуан (1825) 45  
Итого стишлов. 45  
Остаток. 45  
120

20 | 45

Подсчеты  
(ПД 714)

пяти глав (напомним, что к этому времени закончена в рукописи была лишь седьмая глава), а ограничиться только двумя. Романа «в роде Дон-Жуана» роковым образом не получалось: путь русскому поэту на Запад был закрыт, хотя мысль о путешествии в то время по-прежнему его волновала. В 1829 г. он скажет об этом так:

Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,  
 Куда б ни вздумали, готов за вами я  
 Повсюду следовать, надменной убегая;  
 К подножию ли стен далекого Китая,  
 В кипящий ли Париж. Туда ли наконец,  
 Где Тасса не поет уже ночной гребец,  
 Где древних городов под пеплом дремлют мощи,  
 Где кипарисные благоухают рощи,  
 Повсюду я готов. Поедем... но, друзья,  
 Скажите: в странствиях умрет ли страсть моя?  
 Забуду ль гордую, мучительную деву  
 Или к ее ногам, ее младому гневу,  
 Как дань привычную, любовь я принесу...

(III, 191)

Так и кажется, что здесь, пока в лирическом ключе, предвосхищены волнения «позднего» Онегина...

Возвратившись в Москву, поэт в Первой арзрумской тетради (ПД 841) 2 октября 1829 г. начал работать над следующей главой и довольно быстро, за полтора месяца, ее завершил (см.: VI, 473–492). Там были изложены скитания Онегина по России, примерно по тем местам, которые в разное время посетил сам автор.

По всем статьям, это было довольно странным авторским решением. Одно дело, если бы в ту пору предполагалось написать еще несколько глав. Тогда была бы еще как-то оправдана задержка фабульного развития романа. Но ведь Пушкин уже, по-видимому, решил наскоро, только всего одной главой, завершить произведение, понимая, что заграничного путешествия у него самого не получится, а потому и отправил своего героя по городам и весям России. С какой целью?

В рукописи восьмой (по тогдашнему счету) главы, правда, мелькнула была такая мотивировка:

[Наскуча] слыть или Мельмотом  
 Иль маской щеголять иной

Проснулся раз он Патриотом  
В Hotel de Londres, что в Морской  
Россия [мирная] мгновенно  
Ему понравилась отменно  
И решено — уж он влюб<лен>  
Росс<ией> только бредит он  
Уж он Европу ненавидит  
С ее политикой сухой  
С ее развратной суетой,  
Онегин едет, он увидит  
Святую Русь: ее поля  
Селенья, грады и моря —  
(VI, 475–476)

«Поверхностный характер, — справедливо замечает Ю.М. Лотман, — скороспелого патриотизма Онегина в черновиках был подчеркнут резче: “Проснулся раз он Патриотом в Hotel de Londres, что в Морской» (VI, 476) и “Июля 3 числа / Коляска венская в дорогу / Его по почте понесла” (VI, 476). Сочетание патриотизма с Hotel de Londres и венской коляской (ср: “Изделье легкое Европы” — VI, 476) производило бы слишком прямолинейный комический эффект, и автор смягчил иронию»<sup>3</sup>. Смягчил, однако, — гораздо позже. О новом композиционном месте этой строфы и о преодолении в ней иронической интонации будет сказано особо, как и о позднейших пометах Пушкина на этой странице рукописи.

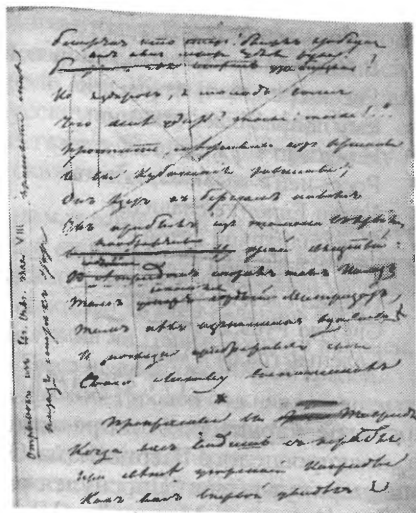
Пока же патриотического восторга от лицезрения российских просторов герой вовсе не испытывает. Постоянным рефреном, отмечающим каждый пункт его местопребывания, станет крик души: «Тоска!»

В 1829 г. в автографе ПД 943 начинается непосредственное описание путешествия героя — вплоть до онегинского стога, вырывающегося у него на кавказских водах:

...Зачем не чувствую в плече  
Хоть ревматизма? Ах, Создатель! —  
И я — как эти господа  
Надежду мог бы знать тогда!..

(VI, 501)

Автограф под нынешним архивным номером ПД 944 был отделен Пушкиным от белой рукописи, так как этот лист  
*Электронная библиотека Пушкинского Дома*



Записка О.М. Сомову  
(ПД 944)

ток был послан О.М. Сомову (поперек левого поля страницы записка: «Отрывок из Евг. Онег. VIII. Пришли мне назад листок этот») для публикации в первом номере «Литературной газеты», поступившей читателям 2 января 1830 г. В конце же этого листка значится:

Я жил тогда в Одессе пыльной  
Etc. —

то есть обозначена вставка десяти строф об Одессе, которые были записаны еще в 1825 г. в тетради ПД 835 и неоднократно примерялись Пушкиным для очередных онегинских глав. Теперь эти строфы нашли наконец свое место. С самого начала этот рассказ об Одессе, по замыслу, предвещал появление в портовом городе героя для того, чтобы оттуда отправиться (вместе с автором!) в «поэтический побег». След этого плана (жизненного и творческого) отзовется в двух неполных строфах автографа ПД 945:

Итак я жил тогда в Одессе  
Средь новоизбранных друзей  
Забыв о сумрачном повесе

Герое повести моей —  
 Онегин никогда со мною  
 Не хвастал дружбой почтовою  
 А я счастливый человек  
 Не переписывался ввек  
 Ни с кем — Каким же изумленьем,  
 Судите, был я поражен  
 Когда ко мне явился он!  
 Неприглашенным привиденьем —  
 Как громко ахнули друзья  
 И как обрадовался я! —

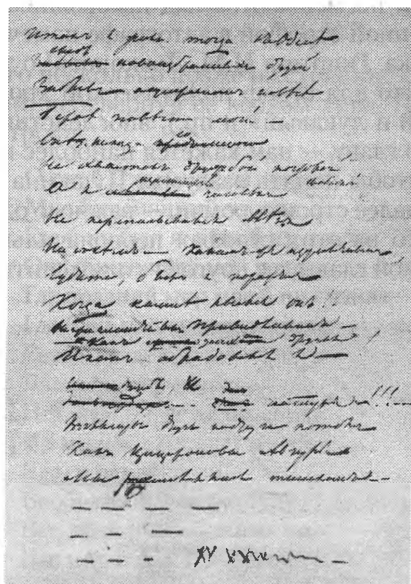
\*

[Святая] дружба! — глас природы — !!  
 Взглянув друг на друга потом  
 Как Цицероновы авгуры  
 Мы рассмеялися тишком —

-----

-----

----- XV XXV -----4



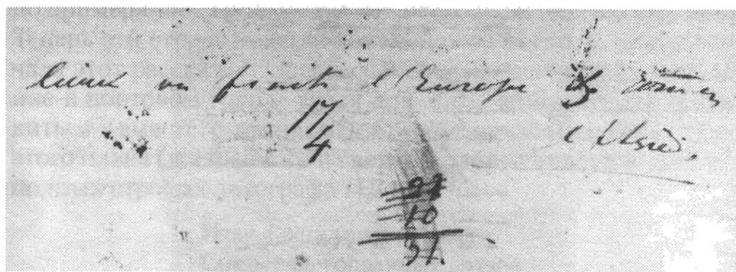
Помета «XV — XXV» (ПД 945)

«Цицероновы авгуры», как указано В.В. Набоковым, вроде бы отсылают к трактату римского политика «О гаданье» (II, 24). «Впрочем, — замечает комментатор, — пушкинский источник здесь не Цицерон. “Les augurs de Rome que ne peuvent se regarder sans rire” <“Римские авгуры, которые не могут смотреть на себя без смеха>” — старое клише французского журнализма. Оно даже существует в обратном латинском переводе: “si augur augurem”»<sup>5</sup>.

«Строфа не закончена, — продолжает рассуждения В.В. Набоков. — Бурцев где-то домыслил, что Пушкин с Онегиным тихо хихикали о том, что оба принадлежали к одному и тому же революционному движению. Я же полагаю, что насмешили их не домыслы комментаторов, а та несвятая и неискренняя дружба, при которой друзья могут совершенно забыть друг о друге на три года»<sup>6</sup>.

Но и такое толкование в равной степени неубедительно. Если же мы вспомним, что по первоначальному замыслу автор с героем должен был встретиться в Одессе для совместного побега за границу, то станет понятно, что сейчас, в восьмой главе, они посмеиваются над несбывшимися планами. Под неоконченной строфой в автографе намечена некая обширная вставка. Гипотеза И.М. Дьяконова<sup>7</sup> о том, что здесь оставлено место для строф политической хроники («Властитель слабый и лукавый» и пр.), впоследствии перенесенной в десятую главу, — нам кажется наиболее корректной.

Для того чтобы понять раздумья Пушкина о том, как он намеревался далее строить роман, — важно, с одной стороны, учитывать, что на этих строфах первоначально обрывался беловик восьмой главы, а с другой — осмыслить значение по-



Пометы и подсчеты в главе «Путешествие Онегина» (ПД 945)



мет, появившихся на обороте автографа ПД 945. Там было записано: «lieux ou finit l'Europe et commence l'Asie» <местности, где кончается Европа и начинается Азия><sup>8</sup> — цитата из вольтеровской «Генриады». Это определение вполне согласуется с одесскими строфами, на которых обрывается беловик главы: Азию от Одессы отделяло «только» Черное море.

Любопытно, что сюда Пушкин пока не перенес строфу, уже записанную к этому времени в тетради ПД 841:

...Судьбы нас снова разлучили  
И нам назначили в поход  
Онегин очень охлажденный  
И тем что видел пресыщенный  
Пустился к невским берегам  
А я от милых Южных дам  
От устриц черноморских  
От оперы и темных лож  
И слава Богу от вельмож  
Уехал в тень лесов Тригорских  
В далекий северный уезд  
И был печален мой приезд  
(VI, 505)

Вместо этого несколько позже на странице с указанными выше пометами, перевернув ее верхом вниз, Пушкин записывает иную строфу:

О где б Судьба не назначала  
Мне безымянный уголок  
Где б ни был я, куда б ни мчала  
Она смиренный мой челнок  
Где поздний мир мне б ни сулила  
Где б ни ждала меня могила  
Везде, везде в душе моей  
Благодарю моих друзей  
Нет, нет! нигде не позабуду  
Их милых ласковых речей —  
Вдали один, среди людей  
Воображать я вечно буду  
Вас, тени прибережных ив  
Вас мир и сон Тригорских нив  
(VI, 505)

Здесь начисто снята тема нового изгнания поэта. Михайловское даже не упоминается, и вся строфа (она в то время осмыслялась, очевидно, как заключительная в данной главе) звучит гимном дружбе. В.В. Набоков предположил, что в запасе у Пушкина должна была быть еще одна строфа:

«Между «XXXII» и этой — явный пробел по меньшей мере в одну строфу. Дружба, о которой Пушкин пишет здесь <...> это та искренняя привязанность и понимание, с которыми относились к поэту его сестра и брат в Михайловском и семейство Осиповых-Вульф в соседнем Тригорском»<sup>9</sup>.

Нельзя это предположение признать корректным — и не только потому, что никаких следов якобы «пропущенной» строфы не сохранилось. Неправомерно впрямую отождествлять самого Пушкина и образ Автора, житейские обстоятельства которого обозначены лишь в той мере, в какой они были важны для Поэта, повествующего о своих героях.

Позже, уже во время болдинской осени 1830 г., тема поэтической дружбы будет дополнительно развита:

И берег Сороти отлогий  
 И полосатые холмы  
 И в роще скрытые дороги  
 И дом где пировали мы —  
 Приют сияньем Муз одетый  
 Младым Языковым воспетый  
 Когда из капища наук  
 Являлся он в наш сельский круг  
 И нимфу Сороти прославил,  
 И огласил поля кругом  
 Очаровательным стихом;  
 Но там [и] я свой след оставил  
 Там ветру в дар, на темну ель  
 Повесил звонкую свирель —  
 (VI, 506)

Следующая глава будет начата рассказом о Музе автора.



<sup>1</sup> См.: Рукою Пушкина. С. 183.

<sup>2</sup> 12 мая 1830 г. во вновь составленном плане своего собрания сочинений Пушкин также для романа определяет девять глав, но после

составления плана на левом поле страницы (ПД 839, л. 70) одну под другой проставляет цифры от 6 до 15, причем цифры 8 и 9 скобку охватываются скобкой, после которой записывается: 8. Не является ли эта запись последним размышлением Пушкина о намерении продолжить роман и рассказать о судьбах героев после их петербургской встречи?

<sup>3</sup> Лотман Ю.М. Комментарий. С. 476.

<sup>4</sup> Вторую цифру здесь можно прочесть по-разному, так как ее начертание переходит в прочерк.

<sup>5</sup> Набоков В.В. Комментарий. С. 633.

<sup>6</sup> Там же. С. 633–634.

<sup>7</sup> См.: Дьяконов И.М. О восьмой, девятой и десятой главах «Евгения Онегина» // Русская литература. 1963. № 3. С. 48–49.

<sup>8</sup> Рукою Пушкина. С. 279.

<sup>9</sup> Набоков В.В. Комментарий. С. 635. Скорее можно было бы удивиться тому, что здесь не называется А.А. Дельвиг, который тоже приезжал в ту пору в Тригорское.

## «Теро покая просит...»

В конце 1820-х гг. Пушкин собирался перенести действие романа в последекабрьские годы. При аналитическом комментарии в окончательном тексте произведения обнаруживаются некоторые реалии новой исторической эпохи<sup>1</sup>. И все же события романа обрываются весной 1825 г.<sup>2</sup>, и теперь автор оценивал их уже из будущего, — обогащенный новым историческим опытом, которого были еще лишены его герои. И самой разительной чертой этой новой точки зрения, определяющей лиризм последней главы, было изменение авторского отношения к заглавному герою. В начале «долгого рассказа» ему были приданы антиромантические черты: разочарованность чувств была истолкована не как проявление рокового романтизма, а как пресыщенность светского человека. Однако уже в седьмой главе, очутившись в онегинском кабинете и стремясь понять Онегина, Татьяна готова уподобить самого его героям любимых книг —

В которых отразился век  
И современный человек  
Изображен довольно верно  
С его безнравственной душой,  
Себялюбивой и сухой,  
Мечтанью преданной безмерно,  
С его озлобленным умом,  
Кипящим в действии пустом.

(VI, 148)

Автор пока оставлял без ответа вопрос-утверждение Татьяны: «Уж не пародия ли он?» Но именно в этом свете будет оценивать героиня поступки Онегина при новой их встрече, в Петербурге.

Исчерпывая сюжет романа в последней главе, автор должен был решить довольно сложные творческие задачи, и потому работа над завершением произведения затянулась почти на два года.

Внимательный анализ рукописей последней главы романа позволяет выделить не две, как обычно считается (болдинскую 1830 г. и царскосельскую 1831 г.), а три редакции, существенно различающиеся между собой.

Основным источником для прояснения творческой истории восьмой (по окончательному счету) главы служит беловая рукопись — довольно сложная по составу, — в конце которой имеется помета:

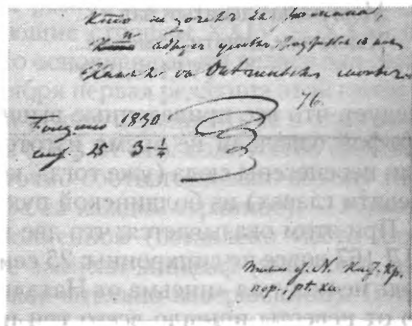
Болдино 1830  
сент. 25 3 ¼ часа

Однако в суждениях о ходе работы над романом не принимались во внимание две строки помет, следующие чуть ниже:

Письмо от Н. Кист<еневские> Кр<естьяне>  
п о р, р т, к а³.

Прежде чем предложить нашу интерпретацию этой записи, остановимся на описании беловой (с большой правкой) рукописи последней главы романа (в первой ее редакции). Рукопись эта состоит из трех частей:

А. Тетрадь из двадцати двух листов (ПД 937)<sup>4</sup>, где записана сорок одна строфа (нумерация римская), — кончая строками (в первом варианте):



Помета в концовке романа  
(ПД 167)

Подите... полно — Я молчу —  
Я вас и видеть не хочу!  
(VI, 635)

Последняя страница тетради осталась незаполненной.

**Б.** Два листка (ПД 942 и ПД Прил. 15<sup>5</sup>), на которых записаны по отдельности строфы 42 (сначала она была обозначена как 41-я) и 43 (нумерация арабская): «А мне, Онегин, пышность эта <...> И буду век ему верна».

**В.** Двойной лист (ПД 167), на котором подряд (без нумерации) записаны последние четыре строфы, содержащие лирическое прощание автора со своими героями и читателями, а также пометы, приведенные выше.

Отметим прежде всего, что беловой автограф **В** выполнен был фактически не в Болдине, когда последняя глава представлялась Пушкину девятой, а лишь в 1831 г., когда она стала восьмой. Позже, при ее публикации, Пушкин процитирует частично еще одну (*отсутствующую в автографе В*) строфу лирического финала («Пора: перо покоя просит...»), место которой определяется совершенно точно: она должна была идти вслед за первой из записанных на двойном листе строф — ср.:

...Поздравим  
Друг друга с берегом. Ура!  
Давно б (не правда ли?) пора!

Пора: перо покоя просит;  
Я девять песен написал;  
На берег радостный выносит  
Мою ладью девятый вал —  
Хвала вам, девяти Каменам...  
(VI, 189, 197)<sup>6</sup>

Отсюда следует, что все приведенные выше пометы под последней строфой означали не время изготовления автографа **В**, а были перенесены сюда (уже тогда, когда роман *не* мыслился в девяти главах) из болдинской рукописи, до нас не дошедшей. При этом оказывается, что две группы помет в автографе ПД 167 вовсе не синхронны: 25 сентября 1830 г. Пушкин отнюдь не получал «письма от Натали».

В Болдино от невесты пришло всего три письма: 9 сентября, 26 октября и 25 ноября. В самом деле, первая помета «Письмо от Nat.» имеется под датой «9 сентября» в черно-

вом автографе «Гробовщика» (ПД 997). В беловом автографе онегинских строф сохранилась память об одном из последующих писем от невесты. Стало быть, законченная в первом варианте 25 сентября (см. первую группу помет), глава позже, но еще в Болдине, получила вторую редакцию.

Косвенным подтверждением того, что здесь имелось в виду третье письмо от Наталии Николаевны, служит последняя строка помет. Отрывочное (раздельное) написание букв в данном случае означает, что перед нами аббревиатура, средняя часть которой обозначена вовсе не французскими буквами (во французском языке слова, начинающиеся на *k*, наперечет). Расшифровать же всю надпись помогает автограф ПД 146, содержащий беловую рукопись стихотворения «Для берегов отчизны дальней...», помеченную датой 27 ноября 1830 г. Нам представляется поэтому, что последнюю строку помет в автографе **В** можно прочитать так:

*П<исьмо> о Р<изнич>, Р<изнич> †<sup>7</sup> (умерла. — С.Ф.),  
К А<малии>.*

То есть следует предположить, что одновременно с письмом от невесты в почтовый день Пушкин получил некое известие об умершей (в 1825 г.) Амалии Ризнич, что и вызвало стихотворение «Для берегов отчизны дальней...» («К Амалии»).

Теперь мы можем представить, как протекала работа Пушкина над последней главой романа.

Первые строки ее (о Музе поэта) были набросаны в тетради ПД 841 (л. 25 об.) в Петербурге 24 декабря 1829 г. Здесь же мы читаем наброски строф (л. 32 об. — 34; май 1830 г.), посвященных резкой характеристике петербургского света (соответствующие строфам XXIV — XXVI окончательной редакции). Но основная работа велась над главой уже в Болдине. 25 сентября первая редакция этой главы была закончена, и Пушкин решил переписать ее в отдельную тетрадь малого формата (18 x 11 см): количество сшитых им в тетрадь листов (22) точно соответствовало объему главы в 42 строфы (по строфе на каждой странице), — первая страница осталась незаполненной (оставлено место для заголовка?), на обороте ее записан эпитафия (знак того, что глава представлялась окончательно завершенной). В тетрадке (автограф **А**) Пушкин, по-видимому дошел до предпоследней строфы, которой исчерпывался монолог Татьяны: слова «Я молчу», на наш взгляд, достаточно твердо указывают на то,

что отповедь ее на этом заканчивалась. Последняя строфа первой редакции девятой главы романа, вероятно, должна была быть кратким прощанием с читателем.

Приведем целиком текст первой болдинской редакции «Песни IX» (по автографу ПД 937):

Fare thee well and if for ever  
Still for ever fare thee well.

*Byron*<sup>8</sup>

I

В те дни когда в садах Лицея  
Я безмятежно расцветал  
Читал охотно Елисея  
А Цицерона проклинал  
В те дни как я поэме редкой  
Не предпочел бы мячик меткой  
Считал схоластику за вздор  
И прыгал в сад через забор  
Когда порой бывал прилежен  
Порой ленив порой упрям  
Порой лукав порою прям  
Порой смирен порой мятежен  
Порой печален, молчалив  
Порой сердечно говорлив

II

Когда в забвеньи перед классом  
Порой терял и взор и слух  
И говорить старался басом  
И стриг над губой первый пух  
В те дни... в те дни когда впервые  
Заметил я черты живые  
Прелестной девы, и любовь  
Младую взволновала кровь  
И я тоскуя безнадежно  
Томясь обманом пылких снов  
Везде искал ее следов,  
Об ней задумывался нежно,  
Весь день минутной встречи ждал  
И счастье сладких мук узнал



III

В те дни — во мгле дубравных сводов  
Близ вод текущих в тишине  
В углах Лицейских переходов  
Являться Муза стала мне  
Моя студенческая келья  
Вдруг озарилась — Муза в ней  
Открыла пир своих затей;  
Простите хладные Науки!  
Простите игры первых лет!  
Я изменился, я поэт  
В душе моей едины звуки  
Переливаются, живут  
В размеры сладкие бегут.

IV

Везде со мной, неутомима  
Мне Муза пела, пела вновь  
*(Amoren canat aetas prima)*<sup>9</sup>  
Всё про любовь да про любовь  
Я вторил ей — молодые други,  
В освобожденные досуги,  
Любили слушать голос мой —  
Они пристрастною душой  
Ревнуя к братскому союзу,  
Мне первый поднесли венец  
Чтоб им украсил их певец  
Свою застенчивую Музу.  
О торжество невинных дней!  
Твой сладок сон души моей

V

И свет ее с улыбкой встретил  
Успех нас первый окрылил  
Старик Державин нас заметил  
И в гроб сходя благославил  
И Дмитрев не был нам хулитель  
И быта русского хранитель  
Скрижаль оставя, нам внимал  
И Музу робкую ласкал —

И ты, глубоко вдохновенный  
Всего прекрасного певец,  
Ты, идол девственных сердец,  
Не ты ль, пристрастьем увлеченный  
Не ты ль мне руку подавал  
И к славе чистой призывал

## VI

А я, в закон себе вменяя  
Страстей мгновенный произвол  
Толпы восторги разделяя  
Я Музу пылкую привел  
На игры юношей разгульных,  
Грозы дозоров караульных  
И им в безумные пиры  
Она несла свои дары  
И как Вакханочка бесилась  
Кричала, пела меж гостей  
И молодежь минувших дней  
За нею буйно волочилась  
И я гордился меж гостей  
Шалуньей ветреной моей —

## VII

Но Рок мне бросил взоры гнева  
И вдаль занес — она за мной  
Как часто ласковая дева  
Мне услаждала час ночной  
Волшебством долгого рассказа  
Как часто по скалам Кавказа  
Она Ленорой, при луне  
Со мной скакала на коне  
Как часто по берегам Тавриды  
Она меня во мгле ночной  
Водила слушать шум морской  
Немолчный шепот Нереиды  
Глубокой вечной шум валов  
Хвалебный гимн Отцу миров

## VIII

И позабыв столицы дальней  
И блеск и шумные пиры

В глуши Молдавии печальной  
Она смиренные шатры  
Племен бродящих посещала  
И между ими одичала  
И позабыла речь богов  
Для странных новых языков  
Для пенья степи ей любезной...  
Но дунул ветер, грянул гром —  
И вот она в саду моем  
Явилась барышней уездной  
С печальной думою в очах  
С фр<анцузской> книжкой в руках

## IX

И ныне Музу я впервые  
На светский раут привожу  
На прелести ее степные  
С ревнивой робостью гляжу  
[Передо мной меж фраков модных  
Меж тихих дев, меж дам холодных  
Она мелькает и скользит]  
Вот села тихо — и глядит  
Любуясь шумной теснотою  
Волненьем платьев и речей  
Явленьем медленным гостей  
Перед хозяйкой молодой  
И темною толпой мужчин  
Вкруг дам как около картин

## X

Кто там меж ними в отдаленьи  
Как нечто лишнее стоит  
Ни с кем он мнится не в сношеньи  
Почти ни с кем не говорит  
Меж молодых Аристократов  
В кругу налетных дипломатов  
Везде он кажется чужим  
Толпа мелькает перед ним  
Как ряд привычных привидений  
Что сплин иль страждущая спесь  
В его лице? зачем он здесь?  
Кто он такой? ужель Евгений?

Ужели он? — так точно он. —  
 Давно ли к нам он занесен?

### XI

Все тот же ль он иль усмирился?  
 Иль корчит так же чудака?  
 Скажите чем он возвратился  
 Что нам представит он пока?  
 Чем ныне явится? Мельмотом,  
 Космополитом, Патриотом  
 Гарольдом, Квакером, ханжой,  
 Иль маской щегольнет иной? —  
 Иль просто будет добрый малой  
 Как вы да я как целый свет  
 По крайней мере мой совет  
 Отстать от моды обветшалой  
 Довольно он морочил свет  
 — Знаком он вам? — и да — и нет. —

### XII

Но вдруг толпа заколебалась  
 По зале шепот пробежал  
 К хозяйке дама приближалась  
 За нею важный генерал  
 Она была нетороплива  
 Не холодна, не говорлива  
 Без взора паглого для всех  
 Без притязаний на успех  
 Без этих маленьких ужимок  
 Без подражательных затей.....  
 Все тихо просто было в ней  
 Она казалась верный снимок  
 Du comme it faut (Ш<ишков> прости  
 Не знаю как перевести)

### XIII

К ней дамы подвигались ближе  
 Старушки улыбались ей  
 Мужчины кланялись ниже,  
 Ловили взор ее очей  
 Девицы проходили тише  
 Пред ней по зале — и всех выше

И нос и плечи подымал  
Вошедший с нею Генерал  
Ее нельзя было прекрасной  
Назвать; но с головы до ног  
Никто бы в ней найти не мог  
Того что модой самовластной  
В избранном Лондонском кругу  
Зовется *vulgar* (не смогу!....

XIV

Люблю я очень это слово  
Но не могу перевести  
Оно у нас покамест ново  
И вряд ли быть ему в чести  
Оно годится в эпиграмме)  
Но обращаюсь к нашей даме  
Она сидела на софе  
Меж странной Леди Терифе  
И с гордой Ниной Торонскою  
Сей Клеопатрою Невы  
И верно согласитесь вы  
Что Нина мраморной красою  
Затмить соседку не могла  
Как ни блистательна была

XV

Ужели? думает Евгений  
Ужель она?.. ну точно... нет...  
Как! из глуши пустых селений  
И неотвязчивый лорнет  
Он обращает поминутно  
На ту, чей вид напомнил смутно  
Ему забытие черты  
Скажи мне, Князь, не знаешь ты  
Кто там в малиновом берете  
С послем Испанским говорит  
Князь на Онегина глядит  
Ага, давно ж ты не был в свете;  
Постой, тебя представлю я  
Да кто ж она? Жена моя

## XVI

Так ты женат! — не знал я ране!  
Давно ли? Около двух лет —  
— На ком? — На Л<ариной> — Татьяне!  
— Знакомы вы? — Я им сосед —  
О, так пойдем же. Князь подходит  
К своей жене и ей приводит  
Родню и друга своего  
Княгиня смотрит на него...  
И что ей душу ни смутило  
Как сильно ни была она  
Удивлена, поражена  
Но ей ничто не изменило  
В ней сохранился тот же тон  
Был так же тих ее поклон

## XVII

Ей-ей не то чтоб содрогнулась  
Иль стала вдруг бледна красна  
У ней и бровь не шевельнулась  
Не сжала даже губ она  
Хоть он глядел куда прилежней  
Но и следов Татьяны прежней  
Не мог Онегин обрести  
С ней речь хотел он завести  
И — и не мог. Она спросила  
Давно ль он здесь? откуда он,  
И не из их ли уж сторон? —  
Потом к супругу обратила  
Усталый взгляд, скользнула вон —  
И недвижим, остался он

## XVIII

Ужель та самая Татьяна  
Которой он наедине  
В начале нашего романа  
В глухой, далекой стороне  
В благом пылу нравоученья  
Читал когда-то наставленья  
Та, от которой он хранит  
Письмо где сердце говорит  
И дышит пламенем на воле

Та девочка... иль это сон?..  
Та девочка, которой он  
Пренебрегал в смиренной доле  
Ужели с ним сейчас была  
Так равнодушна, так смела?

XIX

Как изменилася Татьяна!  
Как твердо в роль она вошла!  
Как утеснительного сана  
Приемы скоро приняла!  
Кто б смел искать девчонки нежной  
В сей величавой, в сей небрежной  
Законодательнице зал?..  
И он ей сердце волновал  
Об нем она в молчаньи ночи  
Пока Морфей не прилетит  
Бывало девственно грустит  
К луне подьмлет томны очи  
Мечтая с ним когда-нибудь  
Свершить смиренный жизни путь!

XX

Он оставляет Раут тесный  
Домой задумчив едет он  
Мечтой то грустной то прелестной  
Его встревожен поздний сон  
Проснулся он — ему приносят  
Письмо: князь N. покорно просит  
Его на вечер. — Боже! К ней!  
О, будет, будет! И скорей  
Марают он ответ учтивый  
Что с ним? В каком он странном сне!  
Что шевельнулось в глубине  
Души холодной и ленивой  
Досада, суетность? иль вновь  
Забота юности — Любовь?

XXI

Любви все возрасты покорны  
Но юным девственным сердцам  
Ее порывы благотворны  
Как бури вешние полям

В дожде страстей они свежают  
 И обновляются и зреют  
 И жизнь могущая дает  
 И пышный цвет и сладкий плод  
 Но в возраст поздний и бесплодный  
 На повороте наших лет  
 Печален их глубокий след —  
 Так бури осени холодной  
 В болото обращают луг  
 И обнажают лес вокруг —

## XXII

Онегин вновь часы считает  
 Вновь не дожидется дня конца  
 Но десять бьет — он выезжает  
 Он полетел, он у крыльца  
 Он с трепетом к Кн<ягине> входит  
 И Таню он одну находит  
 И вместе несколько минут  
 Они сидят — слова нейдут  
 Из уст Онегина. Угрюмой  
 Неловкий, он едва-едва  
 Ей отвечает. Голова  
 Его полна другою думой —  
 Упрямо смотрит он. Она  
 Сидит покойна и вольна.

## XXIII

Приходит муж. Он прерывает  
 Сей неприятный tête-à-tête  
 С Онегиным он вспоминает  
 Друзей, красавиц прежних лет  
 Они смеются. Входят гости  
 Без [эпиграмм, без сплетен,] злости  
 Стал оживляться разговор  
 Перед хозяйкой чистый <?> вздор  
 Блистал без глупого жеманства  
 И прерывал его меж тем  
 Разумный толк без пошлых тем  
 Без вечных истин, без Педантства  
 [И слова не было в речах  
 Ни о дожде, ни о чепцах]



XXIV

В гостиной истинно дворянской  
Чуждались щегольства речей  
И щекотливости мещанской  
Журнальных чопорных судей  
В гостиной светской и свободной  
Был принят слог простонародный  
И не пугал ничьих ушей  
Живою странностью своей:  
(Чему наверно удивится  
Готовя свой разборный лист  
Иной глубокий журналист;  
Но в свете мало ль что творится  
О чем у нас не помышлял,  
Быть может, ни один Журнал!)

XXV

Никто насмешкою холодной  
Встречать не думал старика  
Заметя воротник немодный  
Под бантом шейного платка.  
И новичка-провинциала  
Хозяйка спесью не смущала  
Равно для всех она была  
Непринужденна и мила  
Лишь путешественник залетный  
Блестящий, Лондонский нахал  
Полуулыбку возбуждал  
Своей осанкою заботной —  
И быстро обмененный взор  
Ему был общий приговор

XXVI

Онегин скрылся. Вечер целый  
Он ею занят был одной —  
Не этой девочкой несмелой  
Влюбленной, бедной и простой  
Но равнодушною Княгиней  
Но неприступною Богиней  
Роскошной царственной Невы...  
О люди — все похожи вы

На прародительницу Эву  
Что вам дано, то не влечет  
Вас непрестанно змей зовет  
К себе, к таинственному древу  
Запретный плод вам подавай  
А без того вам рай не рай.

## XXVII

Проходят дни, летят недели  
Онегин мыслит об одном  
Другой себе не зная цели  
Чтоб только явно иль тайком  
Где б ни было Княгиню встретить  
Чтобы в лице ее заметить,  
Хоть озабоченность иль гнев.  
Свой дикий нрав преодолев  
Везде на вечере, на бале  
В театре, у художниц мод,  
На берегах замерзлых вод  
На улице, в передней в зале  
За ней он гонится, как тень  
Куда его девалась лень!

## XXVIII

Она его не замечает  
Как он ни бейся; хоть умри  
Свободно дома принимает  
В гостях с ним молвит слова три  
Порой одним поклоном встретит  
Порой и вовсе не заметит  
Кокетства в ней ни капли нет:  
Его не терпит высший свет:  
Худеть Евгений начинает  
Ей иль не видно, иль не жаль  
Онегин сохнет — и едва ль  
Уж не чахоткою страдает  
Он обращается к врачам  
Те хором шлют его к *водам*

## XXIX

А он не едет. Он заране  
Писать ко прадедам готов

О скорой встрече. А Татьяне  
И горя нет (Их пол таков)  
[Наш друг] упрямым, отстать не хочет  
Еще надеется, хлопочет  
Смелей здорового больной  
Княгине слабою рукой  
Он пишет страстное посланье  
Хоть толку мало вообще  
Он в письмах видел не вотще  
Но знать сердечное страданье  
Уже пришло ему не в мочь  
Он ждет ответа день и ночь

XXX

Напрасно! Он ей вновь посланье  
Второму третьему письму  
Ответа нет. Вот он в собранье  
Тащится. Лишь вошел, ему  
Она навстречу — как сурова!  
Его не видит — с ним ни слова  
У! как теперь окружена  
Крещенским холодом она  
Как удержать негодованье  
Уста дрожащие хотят!  
Вперил Онегин зоркий взгляд  
Где, где смятенье, состраданье?  
Где пятна слез? их нет, их нет!  
На сем лице лишь гнева след

XXXI

Иль может быть боязни тайной  
Чтоб муж иль свет не угадал  
Проказы, слабости случайной...  
Всего что мой Онегин знал.  
Надежды нет — он уезжает  
Свое безумство проклинаят —  
И в нем глубоко погружен  
От света вновь отрекся он.  
И в молчаливом кабинете  
Ему припомнилась пора  
Когда жестокая Хандра  
За ним гналася в шумном свете

Поймала за ворот взяла  
И в темный угол заперла

## XXXII

Стал вновь читать он без разбора  
Прочел он Гердера, Руссо  
Манзони, Гиббона, Шамфора  
M.de Staël, Токвиль, Тиссо  
Прочел скептического Беля  
Прочел идильи Фонтенеля  
Прочел из наших кой-кого  
Не отвергая ничего  
И альманахи и журналы  
Где поученья нам твердят  
Где нынче так меня бранят  
А где, бывало, мадригалы  
Себе встречал я иногда  
E sempre bene<sup>10</sup> Господа

## XXXIII

И что ж? глаза его читали  
Но мысли были далеко  
Мечты, желания, печали  
В душе теснились глубоко  
Он меж печатными строками  
Читал духовными очами  
Другие строки. В них-то он  
Был магнетически вл<юблен>.  
То были тайные преданья  
Сердечной, темной старины,  
Или толкованные сны,  
Или глухие предсказанья,  
Иль долгой сказки вздор живой  
Иль письма девы молодой

## XXXIV

Он так привык теряться в этом  
Что чуть с ума не своротил  
Или не сделался поэтом  
Признаться то-то одолжил!  
А точно силой магнетизма  
Стихов российских Механизма

Едва в то время не постиг  
Мой бестолковый ученик  
Как походил он на Поэта  
Когда в углу сидел один  
И перед ним пылал камин  
И он мурлыкал Benedetta<sup>11</sup>  
Иль Idol mio<sup>12</sup>, и ронял  
В огонь то туфлю, то журнал

XXXV

Дни мчались — в воздухе нагретом  
Уж разрешилася Зима —  
И он не сделался поэтом  
Не умер не сошел с ума  
Весна живет его. Впервые  
Свои покои запертые  
Где зимовал он как сурок  
Двойные окна, камелек  
Он ясным утром оставляет  
Несется вдоль Невы в санях  
На синих, иссеченных льдах  
Играет солнце. Грязно тает  
По улицам разрытый снег  
Куда по нем свой быстрый бег

XXXVI

Стремит Онегин? Вы заране  
Уж угадали. Точно так  
К Е<е> С<иятельству> к Т<атьяне>  
Примчался бедный мой чудак  
Идет на мертвеца похожий  
Нет ни одной души в прихожей  
Он в залу, дальше. — Никого  
Дверь отворил он — что ж его  
С такою силой поражает —  
Княгиня в комнате одна  
Сидит не убрана, бледна  
Письмо какое-то читает —  
И тихо слезы льет рекой  
К плечу склонившись головой!

## XXXVII

О кто б немых ее страданий  
В сей быстрый миг не прочитал!  
Кто прежней Тани, бедной Тани  
Теперь в Княгине б не узнал!  
В тоске безумных сожалений  
К ее ногам упал Евгений  
Она вздрогнула — и молчит  
И на Онегина глядит  
Без удивления, без гнева  
Его больной угасший взор  
Молящий вид, немой укор  
Ей внятно все — Простая дева  
С мечтами, сердцем прежних дней  
Теперь опять воскресла в ней!..

## XXXVIII

Она его не подымает  
И не сводя с него очей  
От жадных уст — не отымает  
Бесчувственной руки своей  
О чем теперь ее мечтанье?  
Проходит долгое молчанье  
И тихо наконец она:  
— Довольно; встаньте: я должна  
Вам объясниться откровенно  
Онегин, помните ль тот час  
Когда в саду, в аллее нас  
Судьба свела и так смиренно  
Урок ваш выслушала я...  
Сегодня очередь моя.

## XXXIX

Онегин я тогда моложе  
Я лучше, кажется, была  
И я любила вас. И что же?  
Что в сердце вашем я нашла?  
Какой ответ? Одну суровость  
Не правда ль? Вам была не новость  
Смирненной девочки любовь?  
А нынче, верьте, стынет кровь  
Как только вспомню взгляд холодный

И эту проповедь... Но вас  
Я не виню: в тот страшный час  
Вы поступили благородно  
Вы были правы предо мной:  
Я благодарна всей душой

XXXX

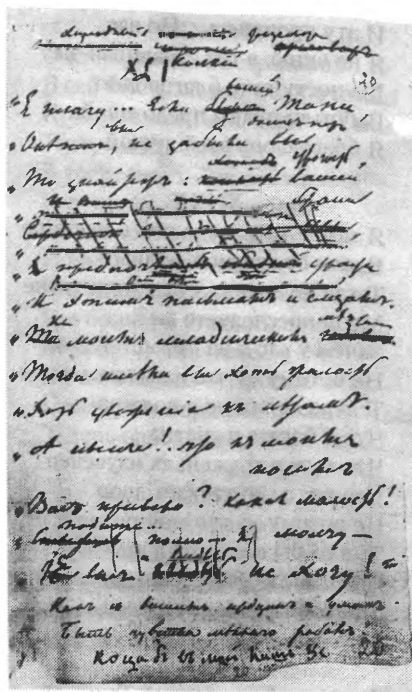
Я вам — не правда ли? в пустыне  
Вдали от суетной молвы  
Тогда не нравилась... Что ж ныне  
Меня преследуете вы?  
Зачем у вас я на примете?  
Не потому ль что в высшем свете  
Теперь являться я должна  
Что я богата и знатна  
Что муж в сраженьях изувечен  
Что нас за то ласкает двор  
Не потому ль что мой позор  
Теперь бы всеми был замечен  
И мог бы в обществе принести  
Вам соблазительную честь

XXXXX

Я плачу... Если бедной Тани  
Онегин, не забыли вы  
То знайте ж: колкость вашей брани  
Тогдашний холод ваш — Увы  
Предпочитаю этой страсти  
Вспылавшей вдруг по вашей власти  
И этим письмам и слезам  
К моим младенческим годам  
Тогда имели вы хоть жалость  
Хоть уважение к летам  
А нынче! — что к моим ногам  
Вас привело? какая малость!  
Подите... полно — Я молчу —  
Я вас и видеть не хочу!

.....

В такой редакции главной героиней последней главы оказалась, по сути дела, Татьяна. Онегин же получал расплату сполна и бесповоротно.



Концовка первой болдинской  
редакции последней главы  
(ПД 937, л. 21)

Однако заключительная строфа (для которой оставалась свободной последняя страница тетрадки) так и не была записана. Почему?

Может быть, потому, что в процессе перебеливания главы у Пушкина забрезжила мысль о десятой главе романа — пусть лишь «для себя»? Эпиграф в беловом автографе девятой главы указывал на окончательную разлуку главных героев романа, и десятая глава романа должна была, очевидно, исчерпать судьбу Евгения — вдали от Татьяны.

Решение кончить роман («для публики») на девятой главе (выше уже говорилось, что оно вызревало годом раньше) фиксируется 26 сентября 1830 г., когда Пушкин записывает известный план романа в трех частях и подсчитывает время работы над ним, вплоть до точного количества дней (ПД 26):



ОнегинЧасть Первая Предисловие

I	песнь	<u>Хандра Кишенев</u> , Одесса
II	— —	<u>Поэт Одесса</u> 1824
III	— —	<u>Барышня</u> Одесса — Мих.

Часть Вторая

IV	песнь	<u>Деревня Михайлов</u> . 1825 <u>1826</u>
V	— —	Пра<здник> <u>Имянины</u> Мих. 1825
VI	— —	<u>Поединок</u> Мих. 1826 Мих. 1827. 8.

Часть третья

VII	песнь	<u>Москва</u> П.Б. Малинн.
VIII	— —	<u>Странствие</u> Павл. Болд.
IX	— — —	<u>Большой свет</u> Болд.

Примечания

Кишенев	Болдино	
1823 год 9 мая	1830 25 сент.	
И жить торопится и чувствовать спешит		<u>26 сент.</u> АП
А.Р.	К.В.	
	[3 1/3] 4 ме. 17 д.	
	7 ле. 4 ме. 17 д. <sup>13</sup>	

30 сентября Пушкин собирается в дорогу, но осенняя распутица и окружившие Болдино карантинны срывают это намерение. Лишь в начале ноября он отправляется в путь, но, не преодолев карантин, возвращается в деревню<sup>14</sup>. В октябре он много работает, в частности и над онегинским текстом: дописывает главу «Странствие» 18 октября, а 19 октября сжигает десятую главу, оставляя зашифрованную ее запись. Лишь к 26 ноября он, вероятно, создает вторую редакцию девятой главы, а 28 ноября пишет предисловие к последним главам:

«Вот еще две главы “Евгения Онегина” — последние по крайней мере для печати <...> Те, которые стали бы искать в них занимательности происшествий, могут быть уверены, что в них еще менее действия, чем во всех предшествовавших. Осьмую главу я хотел вовсе уничтожить и заменить римскою цифрою, но побоялся критики. К тому же многие отрывки из нее уже напечатаны...» (VI, 541).

После того как было решено завершить этими главами роман, концовка монолога Татьяны представлялась слишком резкой. Несправедливый в общем-то приговор герою

предполагалось, видимо, ранее скорректировать в десятой главе. Теперь пришлось дорабатывать сам монолог.

На отдельном листке (первый листок автографа **Б**) речь Татьяны была продолжена: «А мне, Онегин, пышность эта...» Показательно, что эта новая строфа сначала обозначается как 41-я (замена римской — в автографе **А** — нумерации на арабскую в автографе **Б** свидетельствует, на наш взгляд, о некотором временном интервале, отделяющем эти автографы). То есть строфу **XLI** автографа **А** предполагалось сначала совсем опустить. Однако она позже существенно перерабатывается — ее концовка, в частности, хотя и звучит горьким упреком, но все же мягче, чем раньше: «Как с вашим сердцем и умом / Быть чувства мелкого рабом?» (VI, 188).

На следующем листке автографа **Б** пишется строфа-признание:

Я вас люблю (к чему лукавить?).  
Но я другому отдана;  
И буду век ему верна.

(VI, 188)

Вероятно, тогда же на отдельных листках (они не сохранились) были написаны и строфы лирического финала романа, включая строфу «Пора: перо покоя просит...»

Но, кроме финала, во второй редакции главы намечается доработка строф, посвященных «Большому свету» (напомним, что именно так названа в Болдине последняя глава).

В первой редакции в строфах, рисующих петербургский салон Татьяны, воссоздавалась благодатная картина света — в сфере основной героини главы, Татьяны, оттеняя прежде всего ее нравственное влияние на окружающих.

Во второй редакции эта тема, казалось бы, даже несколько развита посредством введения дополнительных строф, пронумерованных цифрами 24 и 25:

24

Тут был однако цвет столицы  
Большого света образцы,  
Везде встречаемые лица,  
Необходимые глупцы;  
Тут были дамы пожилые,  
Надменны с виду, но не злые;  
Тут было несколько девиц,  
Не улыбающихся лиц;

Тут был поэт, не говоривший  
Ни о себе, ни о врагах;  
Тут был в почтенных седилах  
Старик по-старому шутивший:  
Отменно тонко и умно,  
Что нынче несколько смешно.

25

И та, которой улыбалась  
Расцветшей жизни благодать,  
И та, которая сбиралась  
Уж общим мнением управлять,  
И представительница света,  
И та, чья скромная планета  
Должна была когда-нибудь  
Смирненным счастьем блеснуть,  
И та, которой сердце тайно,  
Нося безумной страсти казнь,  
Питало ревность и боязнь —  
Соединенные случайно,  
Друг дружке чуждые душой  
Сидели тут одна с одной.

(VI, 628–629)

Заметно, что автор уже не может выдержать вполне благожелательного тона в обрисовке завсегдатаев гостиной Татьяны. Примечательна, однако, нумерованная строфа, записанная на листке со строфой 42, но не попавшая в окончательный текст романа:

И в зале яркой и богатой,  
Когда в умолкший, тесный круг  
Подобно лилии крылатой  
Колеблясь входит Лалла-Рук,  
И над поникшею толпою  
Сияет царственной главою,  
И тихо вьется, и скользит  
Звезда-Харита меж Харит;  
И взор смешенных поколений  
Стремится, ревностью горя,  
То на нее, то на царя —  
Для них без глаз один Евгений,  
Одной Татьяной поражен;  
Одну Татьяну видит он.

(VI, 637)

Строфа эта, имеющая в виду императорскую чету, уже парировала жестокие упреки героини (ср.: «А нынче! — что к моим ногам / Вас привело? какая малость!»).

Только осенью 1831 г., в Царском Селе, последняя глава выстраивается совершенно по-новому. К этому времени глава «Странствие» остается под спудом, а, стало быть, стройная трехчастная болдинская композиция романа тоже отброшена. 5 октября написано «Письмо Онегина». Готовя главу к публикации, Пушкин значительно сокращает воспоминания о лицейской поре, но вводит пять строф из «Путешествия Онегина», существенно меняет тональность описания большого света, а также дописывает строфы XXX («Сомненья нет: увы! Евгений / В Татьяну как дитя влюблен...») и XXXVIII («И постепенно в усыпление / И чувств и дум впадает он...»). Если в болдинских редакциях в главе безраздельно царствовала Татьяна, то теперь, хотя окончательное слово и оставлено за ней, Евгений обретает нравственную правоту, не поколебленную суровой отповедью Татьяны.

Своеобразная «реабилитация» героя теперь настойчиво подготавливается с самого начала: недаром пять строф, перенесенных сюда из «Странствия», начинаются саркастическим вопросом: «Зачем же так неблагоприятно / Вы отзывались о нем?» («вы» здесь — читатели, но ничто не мешало переадресовать тот же вопрос и Татьяне), а заканчиваются неслучайным уподоблением Онегина Чацкому («Он возвратился и попал, / Как Чацкий, с корабля на бал»). Теперь намеченный контраст страдающего героя с самодовольной посредственностью света требовал существенного изменения в характеристике последнего (автографы строф XXV — XXVI сохранились на отдельных листках):

#### XXV

Тут был на эпиграммы падкой  
 На всё сердитый Кн<нязь> Брод<ин>  
 На чай хозяйский, слиш<ком> сладкой,  
 На глупость дам, на тон мужчин  
 На вензель, двум девицам данный  
 На толки про роман туманный  
 [На пустоту жены своей]  
 [И на неловкость дочерей]

Тут был один диктатор бальный  
Прыгун суровый, должностной;  
У стенки фертик молодой  
Стоял картинкою журнальной  
Румян как вербный херувим  
Затянут, нем и недвижим

XXVI

Тут был Проласов, заслуживший  
Известность низостью души  
Во всех Альбомах притупивший  
St.-Priest твои карандаши;  
Тут был [К.М.] фра<нцуз> женатой  
На кукле чахлой и горбатой  
И семи тысячах душах;  
Тут был во всех своих звездах  
[Правленья Цензор] непреклонной  
(Недавно грозный сей Катон  
За взятки места был лишен)  
Тут был еще сенатор сонный,  
Проведший с картами весь век,  
Для власти нужный человек  
(VI, 629–630)

И хотя резкие строки в окончательном тексте были несколько исправлены, все равно нельзя не заметить, что и там, в отличие от болдинских, — эти строфы ориентированы не на Татьяну, а на Евгения — на контраст с ним.

Непосредственно услышанная теперь читателем исповедь героя в его письме, трепетно благоговейная, нерасчетливая и самоказнящая, не менее впечатляет, нежели письмо Татьяны — в третьей главе. В болдинских редакциях последней главы ничто не мешало поверить в справедливость гневных и горьких упреков героини («Зачем у вас я на примете? / Не потому ль, что в высшем свете / Теперь являться я должна, / Что я богата и знатна» и пр. — VI, 187). Теперь же читатель знает, что в воображении Евгения, охваченного искренним чувством, возникают вовсе не светский салон и Двор, а «Сельский дом — и у окна / Стоит она... и все она!» — (VI, 184).

Автор оставляет своего героя «в минуту злую для него», молчаливо выслушавшего суровую отповедь, ни слова не

сказавшего в свое оправдание, — тем явственнее в контексте всей главы, в ее окончательной редакции, оттеняется трагизм судьбы героя, нравственно пробудившегося, но не понятого, бесконечно одинокого.

Насильственно обрывая в Болдине свой роман на девятой (как тогда казалось) главе, Пушкин в ту пору еще предполагал его закончить «для себя», проследив остаток жизни заглавного героя. Теперь же, после существенной переработки последней главы, Евгений встал вровень с героиней. «Злая минута» оказалась для Онегина одновременно и высшим пиком его судьбы, и сюжетная коллизия романа была совершенно исчерпана.

В заключительных строфах романа по-своему исчерпана и судьба автора:

Промчалось много, много дней  
С тех пор, как юная Татьяна  
И с ней Онегин в смутном сне  
Явились впервые мне —  
И даль свободного романа  
Я сквозь магический кристалл  
Еще неясно различал.

А те, которым в дружной встрече  
Я строфы первые читал...  
Иных уж нет, а те далече,  
Как Сади некогда сказал...

(VI, 190)

Внимательно читавший поэму «Дон-Жуан» Байрона, Пушкин не мог не обратить в ней внимание на следующие строки:

«Увы! где мир, существовавший еще только восемь лет назад? Он был... и я его ищу... и он исчез, как шар хрустальный, который треснул, дрогнул и пропал, едва ли обратив на себя внимание, пока безмолвное изменение не нарушило во все его блестящей массы. Государственные деятели, воители, ораторы, королевы, патриоты и щеголи — всех их смел ветер своими крыльями...» (2, 75).

И чуть ниже:

«Скажи, какие реки текут теперь в этих руслах?.. Многие умерли, другие бежали, иные чахнут на континенте...» (2, 79).

Кажется, подсчитывая 26 сентября 1830 г. в Болдино время работы над своим романом, Пушкин тоже прикидывает почти тот же срок, что и Байрон: почти восемь лет. Но недаром в лирическом эпилоге он вспоминает все же не Байрона, а Саади. За этой отсылкой просвечивает примечательная история.

Когда-то слова Саади были взяты эпитафией к поэме «Бахчисарайский фонтан». Однако Пушкин несомненно знал, что в 1827 г. внимание правительства остановила такая фраза в журнале «Московский телеграф»:

«В эти два года много пролетело и исчезло тех резвых мечтаний, которые веселили нас в былое время <...> Смотрю на круг друзей наших, прежде оставленный, веселый, и часто <...> с грустью повторяю слова Сади (или Пушкина, который нам передал слова Сади): “Иных уж нет, другие странствуют далеко!”».

Немедленно автор этого пассажа, П.А. Вяземский, получил выговор. Бывший арзамасец, а впоследствии делопроизводитель Верховной следственной комиссии по делу декабристов, товарищ министра народного просвещения Д.Р. Блудов патетически восклицал: «Я не могу поверить, что вы, приводя эту цитату и говоря о друзьях умерших или отсутствующих, думали о людях, справедливо пораженных законом; но другие сочли именно так, и я представляю вам самому догадываться, какое действие способна произвести эта мысль»<sup>15</sup>.

Как видим, Пушкин именно на такое «действие» и рассчитывал!

И это прежде всего отбрасывает особый свет на героев романа. Все они, и Ленский, и Онегин, и Татьяна, — по авторскому определению — странные люди. Странные — в глазах окружающих, но тем они и дороги автору.

Мы говорили выше, что Онегин, после отповеди Татьяны, остается безмолвен. Но в окончательной редакции романа слово ему все же было дано. Его письмо, казалось бы, ничего нового не добавляло к строфам последней главы: мы уже знаем, насколько глубоко он влюблен. Более того. Он заранее предвидит реакцию Татьяны: «Боюсь: в мольбе моей смиренной / Увидит ваш суровый взор / Затеи хитрости презренной — / И слышу гневный ваш укор» (VI, 181). Он понимает, что ничто в его прошлом не может внушить любимой уважения к нему. Он один знает, что с этим прошлым он

ныне окончательно расстался. Безрассудство, отчаянность, несветскость его поступка — залог его духовного возрождения.

Переосмысление онегинского типа (его трагедийная интерпретация) было связано с историческим опытом автора. Духовно Онегин, как это стало ясно лишь теперь, на рубеже нового десятилетия, принадлежал к лучшим людям поколения 1820-х гг., к которым автор уже не может относиться с иронией, пусть даже и сочувственной. Ибо немного уж теперь их и осталось: «иных уж нет, а те далече».

В психологически сложном финале романа герои встают вровень друг с другом. Когда-то безошибочным чувством Татьяна угадала в Онегине, за маской светского денди, неординарность и неприкаянность. Об этом, пытаясь разобраться в своем чувстве, она напишет в письме: «Не правда ли? Я тебя слыхала: / Ты говорил со мной в тиши, / Когда я бедным помогала / Или молитвой услаждала / Тоску волнующей души?» (VI, 67). И чувство это не могло быть не усилено признанием Онегина — в ответ на ее письмо. Недаром Пушкин так упорно работал над онегинским монологом, снимая первоначальные его фатовские «глупость и нахальство». Чутким сердцем Татьяна и здесь угадала, за наигрышем и аффектацией, скрытое страдание, которое вызывает к защите. И эта охранительная роль героини будет развита в самой трагической, шестой главе романа:

Когда бы ведала Татьяна,  
 Когда бы знать она могла,  
 Что завтра Ленский и Евгений  
 Заспорят о могильной сени;  
 Ах, может быть, ее любовь  
 Друзей соединила б вновь!

(VI, 124)

К последней главе Татьяна внешне переменялась настолько сильно, что ее вначале с трудом узнает Онегин (впрочем, встретившийся с ней в далекую пору всего трижды). Пушкин позднее признавался: «П.А.Катенин (коему прекрасный поэтический талант не мешает быть и тонким критиком) заметил нам, что <...> переход Татьяны, уездной барышни, к Татьяне, знатной даме, становится слишком неожиданным и необъяснимым. Замечание, обличающее опытного художника» (VI, 197). Но в этом признании, ско-



рее всего, больше снисхождения к педантичному критику, чем внутреннего согласия с ним: Пушкин, как художник, всегда доверяет нравственному потенциалу личности — тем более самой любимой своей героине.

Любопытная деталь: в эпилоге автор признается, что в «дали свободного романа», как в смутном сне, ему якобы сначала привиделась Татьяна и только потом, «с ней», — Онегин. На самом деле, как мы помним, было всё иначе. Но, подводя итоги повествованию, автор и здесь приоритет отдает героине — тем самым считая ее правой даже в последнем ее горьком признании: «Я вас люблю (к чему лукавить?), Но я другому отдана; / Я буду век ему верна» (VI, 188), — пренебрегая будущей реакцией многих читателей, до сих пор зачастую «осуждающих» героиню.

Тема верности, женской верности, в особенности в Николаевскую эпоху, наполнялась особым смыслом. Подвиг женщин, «русских душою», был в ту пору, когда «иных уж нет, а те далече», эталоном высшей нравственности: об этом сигнализируют последние в произведении слова автора о Татьяне: «А та, с которой образован / Татьяны милый Идеал... / О много, много Рок отъял!» (VI, 190).

Получив в заточении последнюю онегинскую главу, Вильгельм Кюхельбекер пометит в своем дневнике: «Поэт в своей 8 главе похож сам на Татьяну: для лицейского его товарища, для человека, который с ним вырос и знает наизусть, как я, везде заметно чувство, коим Пушкин переполнен, хотя он, подобно своей Татьяне, и не хочет, чтоб об этом чувстве знал свет»<sup>16</sup>.

Требуют специального комментария последние строки восьмой главы романа:

Блажен, кто праздник Жизни рано  
Оставил, не допив до дна,  
Бокала полного вина,  
Кто не дочел Ее романа  
И вдруг умел расстаться с ним,  
Как я с Онегиным моим.

(VI, 190)

А.Е. Тархов полагает, что здесь речь идет о смерти Автора<sup>17</sup>, который, по сути дела, является главнейшим героем романа. Но метафора «праздник Жизни»<sup>18</sup> подготовлена и объяснена в предыдущей строфе: это «живой и постоян-

ный, хоть малый труд», который подарил «всё, что завидно для поэта».

Это — творчество, высшее благо жизни, — которая тем не менее, сама по себе, бесконечно богаче любого, пусть даже наиглавнейшего для отдельного человека свершения.

Все это так.

Но в полных изданиях романа (1833, 1837) повествование обрывается описанием одесской ночи:

...Тихо спит Одесса;  
И бездыханна и тепла  
Немая ночь. Луна взошла,  
Прозрачно-легкая завеса  
Объемлет небо. Всё молчит;  
Лишь море Черное шумит...

\*

Итак, я жил тогда в Одессе...  
(VI, 205)

Это вызывает в памяти картину петербургской ночи в первой главе романа и несвершившиеся мечты поэта «покинуть скучный берег»...

В 1835 г., размышляя о том, как можно было бы продолжить роман в стихах, Пушкин скажет:

...Роман не кончен — понемногу  
Иди вперед; не будь ленив.  
Со славы, вняв ее призванью,  
Сбирай оброк хвалой и бранью —  
Рисуй и франтов городских,  
И милых барышень своих,  
Войну и бал, дворец и хату,  
И келью и харем...

(III, 397)

Кажется, и здесь проступает отчетливая для автора перспектива долго волновавшего его воображение замысла. «В роде Дон-Жуана»...



<sup>1</sup> См.: Лотман Ю.М. Комментарий. С. 456–457, 458, 459–460 и др.

<sup>2</sup> В последнее время некоторые исследователи полагают, что вре-

мя пушкинского романа вовсе не кончается весной 1825 г. См.: *Бавевский В.С.* Время в «Евгении Онегине» // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 11. Л., 1983. С. 115–130; *Кожевников В.А.* «Вся жизнь, вся душа, вся любовь...». М., 1993. С. 63–71; *Кошелев В.А.* «“Онегина” воздушная громада...». СПб., 1999. С. 120–144. Однако мы придерживаемся традиционной точки зрения: события романа обрываются до восстания декабристов, которое подводило своеобразный исторический итог эпохе, изображенной в произведении.

<sup>3</sup> Так эта помета прочитана в кн.: Рукою Пушкина. С. 282.

<sup>4</sup> Строфы I – IV (два листка) были Пушкиным вырезаны из этой тетрадки и ныне имеют другой архивный номер (ПД 158).

<sup>5</sup> Автограф этот находился в собрании Ю.Г. Оксмана. В Пушкинском Доме имеется фотокопия автографа – см.: *Соловьева О.С.* Рукописи Пушкина, поступившие в Пушкинский Дом после 1937 г.: Краткое описание. М.; Л., 1964. С. 87.

<sup>6</sup> Символика числа 9 необычайно обширна (девять чинов ангельских, девять славнейших рыцарей и пр. См.: Мифы народов мира. Т. 1. С. 631). Возможно, создавая эту строфу, Пушкин вспомнил о том, что роман был задуман 9 мая 1823 г.

<sup>7</sup> Так же в тетради ПД 838 (л. 17 об.) отмечено известие о смерти няни: «Няня †».

<sup>8</sup> Прощай, и если навсегда, / То навсегда прощай. *Байрон (англ.)*. В рецензии на комментарий Н.Л. Бродского к роману «Евгений Онегин» А. Иваненко справедливо отметил: «Смысл эпиграфа, конечно, только один: слова о *прощании навсегда* даны от “автора”, но могут относиться только к прощанию героев друг с другом, а не к авторскому прощанию с ними» (Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1940. Вып. 6. С. 526). В данном случае нужно иметь в виду особое значение английского местоимения «thee».

<sup>9</sup> Пусть юный возраст поет о любви (*лат.*).

<sup>10</sup> И отлично (*лат.*).

<sup>11</sup> Благословенна (*ит.*).

<sup>12</sup> Идол мой (*ит.*).

<sup>13</sup> См.: Рукою Пушкина. С. 186.

<sup>14</sup> См.: Летопись. Т. 2. С. 228–229, 290–291, 294–295.

<sup>15</sup> См.: *Гиллельсон М.И.* П.А.Вяземский. Жизнь и творчество. Л., 1969. С. 158–159.

<sup>16</sup> *Кюхельбекер В.К.* Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 99–100.

<sup>17</sup> См.: *Тархов А.Е.* Комментарий. С. 326.

<sup>18</sup> О реминисцентном контексте этих строк см.: *Лотман Ю.М.* Комментарий. С. 469–470; *Набоков В.В.* Комментарий. С. 599; *Бочаров С.Г.* Поэтика Пушкина. Очерки. М., 1974. С. 99–104. Однако не

менее важно иметь в виду и собственно пушкинскую топику «бокала, полного вина» — ср. «Элегию» («Безумных лет угасшее веселье...»; 1830) и «раму» «Похоронной песни Иакинфа Маглановича» (1833): «С Богом в дальнюю дорогу! / Путь найдешь ты, слава Богу. / Светит месяц; ночь ясна; / Чарка выпита до дна» (III, 348). В «Гузле» П. Мериме о «чарке» не упоминается — ср.: «Прощай, прощай, добрый путь! Нынче ночью — полнолуние, дорогу хорошо видно. Добрый путь!» (Мериме П. Собр. соч. М., 1963. Т. 1. С. 72).

## Десятая глава

*(Проблемы реконструктивного анализа)*

Определив 26 сентября 1830 г. общий план романа «Евгений Онегин» в составе девяти глав (ПД 26), Пушкин, однако, некоторое время предполагал «для себя» как-то иначе закончить произведение, осознавая, что в печать этот эпилог пройти не сможет. Перспектива такого завершения, впрочем, брезжила еще в конце 1820-х гг.: в походной палатке во время Арзрумской кампании поэт, по свидетельству очень точного в своих воспоминаниях М.И. Юзефовича, объяснил «довольно подробно все, что входило в первоначальный его замысел, по которому, между прочим, Онегин должен был или погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабристов»<sup>1</sup>. Ю.М. Лотман полагал, что «переносить эти рассказы на десятую главу, о которой Пушкин в 1829 году не мог думать, у нас нет достаточных оснований <...> предположение, что Пушкин в 1829 году почти посторонним людям рассказал некоторый сюжет, а через полтора года стал его же “перелагать” в стихи, подразумевает полное непонимание психологии творчества Пушкина, который редко импровизировал в устной форме и из незаконченного делился лишь замыслами, уже оставленными бесповоротно. Как источник реконструкции не дошедшей до нас части сюжета десятой главы воспоминания следует решительно отвести»<sup>2</sup>.

Суждение, на наш взгляд, слишком категоричное.

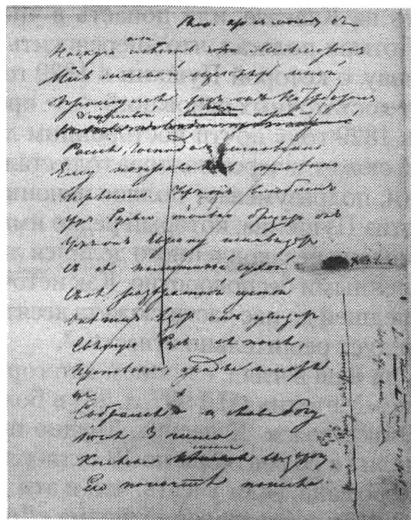
В черновике «Метели» (ПД 997, л. 28) в Болдине появится помета «19 окт. сожж. X песнь». Трудно предположить, что за три недели (с 26 сентября по 19 октября) была создана целая глава романа, если учесть, что в эти дни написано около двух десятков стихотворений, поэма «Домик в Коломне», основная часть полемических заметок, озаглавленных позже «Опровержение на критики», а также повести «Выст-

рел» и «Метель». Скорее всего, накануне он восстановил по памяти ранее (до поездки в Болдино) написанные строфы о «Владыке слабом и лукавом». Возможно, Пушкин записал их текст даже не целиком, а лишь набросал начальные строки этих строф (иногда запамятовав к тому же некоторые строчки), а заново дописал лишь три строфы исторической хроники, дошедшие до нас в болдинских черновиках.

Возвратившись из Болдина, Пушкин некоторым близким друзьям (П.А. Катенину, П.А. Вяземскому, А.И. Тургеневу) читает опасные стихи.

Тогда же в перебеленной рукописи «Странствие» (ПД 943) он делает некоторые пометы, намечающие зачин новой главы. Беловик начинался строфой «Наскуча или слыть Мельмотом...». Теперь строфа эта перечеркивается, но рядом отмечено: «в X песнь», — а выше Пушкин пометил вставку: «Блажен кто смолоду бы<л молод>». На правом поле первой страницы автографа ПД 943 записан расчет:

50  
14  
700



Помета «в X песнь»  
(ПД 996)

Это количественный эталон, принятый Пушкиным для каждой главы в качестве идеальной нормы, — им всякий раз, впрочем, нарушаемой. Под подсчетом записано: «Нам по плечу и не страшна», — то есть Пушкин намеревался пополнить вступление к главе еще двумя строфами, черновой набросок которых сохранился в автографе ПД 160:

Что <далее оборвано>  
Что слишком <далее оборвано>  
Принять мы рады за дела  
Что глупость ветрена и зла  
Что вздорным людям важны вздо<ры>  
И что посредственность одна  
Для них почтенна [и умна]

За что же так неблагоклонно  
Судить чужого свет привык  
За то [ли] что неугомонно  
Без брани сохнет наш язык

(VI, 509–510)

Впоследствии (после соответствующей обработки) эти строфы будут перенесены в последнюю главу, но пока Пушкин их, как видим, намечает для X главы. Напомним, что мысль о подобном оправдании будущего своего героя у Пушкина мелькнула еще 13 мая 1823 г. в письме к Н.И. Гнедичу, предопределившем весь замысел романа в стихах.

Любопытна еще одна помета на правом поле автографа ПД 943, которая потребовала от поэта упорной обработки:

а. И вот    точь в точь  
б. И вот слова письма точь в точь  
в. И вот письмо его точь в точь —

и наконец:

Вот это вам письмо точь в точь.

В академическом Полном собрании сочинений (см. VI, 632) эти строки трактуются как след позднейшей правки последней главы романа, когда (осенью 1831 г.) Пушкин решил включить в нее письмо Онегина. Но в сочетании с указанной пометой «в X песнь» все пометы на данной странице можно толковать как продолжение (после Болдина) работы над новой главой (очевидно, в десятой главе предполагалось в ту пору поместить и Письмо Онегина). В начале октября

1829 г. четыре строфы, начинающиеся строчкой «Блажен, кто в юности был молод...»<sup>3</sup> были записаны набело в Первой Арзрумской тетради (ПД 841, л. 120–121), а далее в той же тетради началась черновая работа над строфой «Наскучив щеголять Мельмотом...» и следующими строфами, описывающими путешествие Онегина по России. Однако перебеленный автограф «Странствия» (ПД 943) начинался со строфы о Мельмоте. Теперь же строки вступления намечаются сызнова, но уже как начало X главы, которое, по-видимому, Пушкину в то время рисовалось так:

## I

Блажен, кто смолоду был молод,  
 Блажен, кто вовремя созрел,  
 Кто постепенно жизни холод  
 С летами вытерпеть умел;  
 Кто странным снам не предавался,  
 Кто черни светской не чуждался,  
 Кто в двадцать лет был франт иль хват,  
 А в тридцать выгодно женат;  
 Кто в пятьдесят освободился  
 От частных и других долгов,  
 Кто славы, денег и чинов  
 Спокойно в очередь добился,  
 О ком твердили целый век:  
 N.N. прекрасный человек.

## II

Но грустно думать, что напрасно  
 Была нам молодость дана,  
 Что изменяла нам всечасно,  
 Что обманула нас она;  
 Что наши лучшие желанья,  
 Что наши свежие мечтанья  
 Истлели быстрой чередой,  
 Как листья осени гнилой.  
 Несносно видеть пред собою  
 Одних обедов длинный ряд,  
 Глядеть на жизнь, как на обряд,  
 И вслед за чинною толпою  
 Идти, не разделяя с ней  
 Ни общих мнений, ни страстей.



III

Предметом став суждений шумных,  
Несносно (согласитесь в том)  
Между людей благоразумных  
Прослыть притворным чудачком,  
Или печальным сумасбродом,  
Иль сатаническим уродом,  
Иль даже Демоном моим.  
Онегин (вновь займуся им),  
Убив на поединке друга,  
Дожив без цели, без трудов  
До двадцати шести годов,  
Томясь в бездействии досуга  
Без службы, без жены, без дел, —  
Ничем заняться не умел.

IV

Наскуча или слыть Мельмогом,  
Иль маской щеголять иной,  
Проснулся раз он патриотом  
Дождливой скучною порой.  
Россия, господа, мгновенно  
Ему понравилась отменно  
И решено: уж он влюблен,  
Уж Русью только бредит он,  
Уж он Европу ненавидит  
С ее политикой сухой,  
С ее развратной суетой.  
Онегин едет; он увидит  
Святую Русь: ее поля,  
Пустыни, грады и моря.

V

— Зачем же так неблагосклонно  
Вы отзываетесь о нем?  
За то ль, что мы неугомно  
Хлопочем, судим обо всем,  
Что пылких душ неосторожность  
Самолюбивую ничтожность  
Иль оскорбляет, иль смешит,  
Что ум, любя простор, теснит,

Что слишком часто разговоры  
 Принять мы рады за дела,  
 Что глупость ветрена и зла,  
 Что важным людям важны вздоры  
 И что посредственность одна  
 Нам по плечу и не странна?

После всего пережитого в Петербурге Онегин отправлялся в путешествие по «святой Руси», которая вдруг «ему понравилась отменно». Это неожиданно? Да. Но не в большей мере, чем превращение «смирненной девочки» Тани в «законодательницу зал». Судьба человека (конечно, человека неординарного) во многом определяется, по Пушкину, выбором жизненного пути в обстоятельствах чрезвычайных. Вспомним саркастическую сентенцию из «Путешествия в Арзрум»: «Люди верят только славе и не понимают, что между ими может находиться Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в “Московском телеграфе”» (VIII, 461).

В связи с этим следует обратить внимание и на загадочную онегинскую строфу, дошедшую до нас в копии В.Ф. Одоевского:

Исполня жизнь свою отравой,  
 Не сделав многого добра...  
 Увы, он мог бессмертной славой  
 Газет наполнить нумера.  
 Уча людей, мороча братьий,  
 При громе плесков или проклятий,  
 Он совершить мог славный путь,  
 Дабы последний раз дохнуть  
 Ввиду торжественных трофеев,  
 Как наш Кутузов иль Нельсон,  
 Иль в ссылке, как Наполеон,  
 Иль быть повешен как Рылеев.

(VI, 612)

«Эту строфу, — замечает А.Е. Тархов, — традиционно относят к возможностям судьбы Ленского (подставляя ее на место пропущенной XXXVIII строфы шестой главы), что порождает естественное недоумение: какой такой “отравой” исполнена жизнь Ленского? Речь здесь может идти только об Онегине, жизнь которого действительно отравлена...»<sup>4</sup>

Нет, конечно, никаких оснований вносить эту строфу в состав десятой главы (строки эти могли возникнуть в воображении автора и по ходу иных глав), но нужно согласиться, что такая характеристика (не лишенная некоторой авторской иронии) проецирует возможную судьбу Онегина в большей степени, нежели Ленского. «Проснувшись патриотом», Онегин историческую жизнь России наконец заметил, осмыслил и готов, видимо, теперь к ней приобщиться.

Вот после первых пяти, намеченных в ПД 943, строф теперь и должна была, вероятно, встать историческая хроника, сохранившаяся в основном в зашифрованных в 1830 г. в Болдине строках (ПД 170).

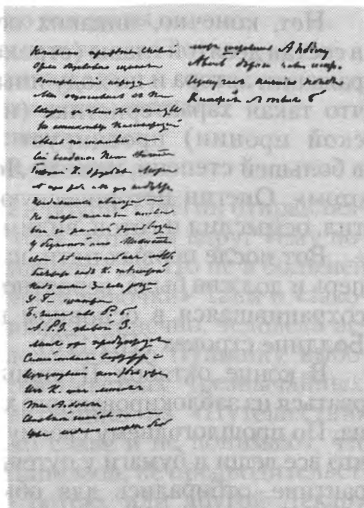
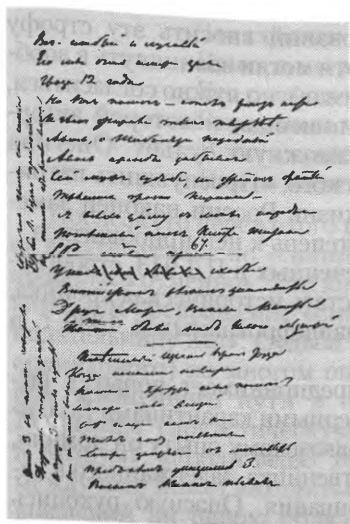
В конце октября Пушкин предпринимает попытку вырваться из заблокированного холерными карантинами Болдина. По прошлогоднему своему кавказскому опыту он помнил, что все вещи и бумаги у путешественника, задержанного в карантине, отбирались для обкуривания. Опасную рукопись поэтому в дорогу брать не следовало. Она была уничтожена и заменена шифрованной записью, которая, к счастью, сохранилась и в 1910 г. была расшифрована П.О. Морозовым<sup>5</sup>.

Запись эта несколькими поколениями филологов осмыслялась в рамках реконструктивного анализа<sup>6</sup>, основой которого служили прежде всего исторические события, здесь запечатленные.

Канва рассказа в онегинских строфах обычно четко обозначается в «опорных» первых четверостишиях, что и помогает более или менее уверенно домыслить содержание опущенных строк. Десять последующих строк развивают намеченную тему и *подготавливают переход к следующей строфе* (именно эта перспектива повествования является чрезвычайно важной для реконструкции утраченного текста). Уточнить же некоторые детали опущенных фрагментов позволяют и реальный комментарий, и угадываемые реминисценции или же автореминисценции.

Вероятно, брезживший ранее (и, может быть, на каком-то этапе и отвергнутый) план окончания произведения, о чем поэт рассказывал на Кавказе друзьям (а вовсе не «почти посторонним людям»), снова пришел Пушкину на ум. Иначе зачем бы понадобилось в «песни X» намечать обширную преддекабристскую хронику?

Обратимся к этой хронике, — которая фактически (после наметок в рукописи ПД 943) начиналась уже с шестой строфы.



Шифрованная запись десятой главы  
(ПД 170)

VI

Вл<адыка> слабый и лукавый,  
Плешивый щеголь, враг труда,  
Нечаянно пригретый славой,  
Над нами ц<арство>вал тогда

.....

Мы принимаем в данном случае конъектуру В.В. Набокова, обоснованную им так:

«Пушкинское “Вл-” может быть сокращением двух, и только двух, слов: “властитель” и “владыка”. Я склонен предположить второе из них: по эвфоническим причинам (оно не дает нагромождения согласных, как на стыке слов “властитель” и идущего за ним “слабый”) и потому, что Пушкин в таком же смысле уже использовал слово “владыка” в оде “Вольность”, а также в строках <...> стихотворения “Недвижный страж дремал...”»<sup>7</sup>.

Особенно убедительным нам кажется обращение к контексту пушкинского творчества. Действительно, в зашифрованных строках не раз еще эхом откликнутся пушкинские произведения прежних лет.

В современном словоупотреблении лексема «властитель» кажется более «светской». Не так у Пушкина. Ср., например, в монологе Пимена — о патриархе:

Зане святыи владыка пред царем...

Но тут же — и о царе:

Владыкою себе цареубийцу

Мы нарекли...

(Курсив наш. — С.Ф.; VII, 21)

Александр I Пушкин, по собственному признанию, всю жизнь «подсвистывал». В этой связи особенно любопытна эпиграмма «Послужной список»<sup>8</sup>, которая за незначительными изменениями так и просится в продолжение данной строфы, в которой, очевидно, должна была содержаться обшая характеристика императора:

...Воспитанный под барабаном,  
Наш царь лихим был капитаном,  
Под Австерлицем он бежал,  
В двенадцатом году дремал,  
Зато был фрунтовый профессор,  
Но фронт герою надоел,  
<По части иностранных дел  
Теперь коллежский он ассессор>

.....  
.....

(II, 459)

Последующие три строфы такую характеристику лишь уточняли.

## VII

Его мы очень смирен<ым> знали,  
Когда не наши повара  
Орла двуглавого щипали  
У Г<осударева> шатра

.....

Принято в четвертой строке здесь предполагать зашифрованное слово «Б<онапартова>» шатра, но в пушкинской записи четко обозначено «Г-». Далее должна была содержаться оценка позорного для России Тильзитского мира и его последствий.

## VIII

Гроза двенадцатого года  
 Настала — кто тут нам помог?  
 Остервенение народа,  
 Б<арклай>, зима иль р<усский> Б<ог>?  
 .....

Судя по зачину следующей строфы, в этой — содержалось воспоминание об общественном настроении глубокого уныния и возмущения, вызванных первыми неудачами войны 1812 г. Так, в своем подневном «журнале» 30 августа 1812 г. генерал В.В. Вяземский писал: «Теперь уже сердце дрожит о состоянии матери России. Интриги в армиях — не мудрено: наполнены иностранцами, командуемы выскочками. При дворе кто помощник государя? Граф Аракчеев. Где он вел войну? Какою победой прославился? Какие привязал к себе войски? Какой народ любит его? Чем доказал благодарность своему отечеству? И он-то в сию минуту ближним к государю. Вся армия, весь народ обвиняют отступление наших армий от Вильны до Смоленска. Или вся армия, весь народ — дураки, или тот, по чьему приказу сделано сие отступление»<sup>9</sup>.

Было бы странно, упомянув Барклая-де-Толли, в рассказе о событиях Отечественной войны не вспомнить имя Кутузова. «Слава Кутузова, — позже заметит Пушкин, — неразрывно связана со славою России, с памятью о величайшем событии новейшей истории. Его титул: спаситель России; его памятник: скала святой Елены! Имя его не только священо для нас, но не должны ли мы еще радоваться, мы, русские, что оно звучит русским звуком?

И мог ли Барклай-де-Толли совершить им начатое поприще? Мог ли он остановиться и предложить сражение у курганов Бородина? Мог ли он после ужасной битвы, где равен был неравный спор, отдать Москву Наполеону и стать в бездействии на равнинах Тарутинских? Нет! (Не говорю уже о превосходстве военного гения.) Один Кутузов мог предложить Бородинское сражение; один Кутузов мог отдать Москву неприятелю. Один Кутузов мог оставаться в этом мудром, деятельном бездействии, усыпляя Наполеона на пожарище Москвы и выжидая роковой минуты: ибо Кутузов один облечен был в народную доверенность, которую так чудно оправдал!» (XII,133)

IX

Но <Князь ? > помог — стал ропот ниже,  
 И скоро силою вещей  
 Мы очутились в П<ариже>,  
 А р<усский царь> главой <царей>

.....

Второе слово в первой строке принято, начиная с П.О. Морозова, читать как «Бог», что явно неверно<sup>10</sup>. Здесь Пушкин применил некое сокращение («К-зь?»). Заглавная первая буква действительно может быть прочитана как «К» (ср. строку «Наш Царь в конгрессе говорил»), букву «з» Пушкин тоже порой писал невнятным росчерком (ср. в словах: «издавна», «грозно», «дерзко», «резким»). Очевидно, конец предыдущей строфы повествовал о назначении Кутузова (Князя Смоленского) главнокомандующим, под давлением общественного мнения, вопреки желанию царя.

Строфа эта, очевидно, должна была вся быть посвящена царю, почившему на лаврах после победы над Наполеоном, царствующему «лежа на боку». Вероятно, в соответствии со стилистикой романа здесь шла цепь перечислений, которые обычно, нагнетая инерцию более или менее осознаваемых поэтизмов, таили напоследок выверенный стилистический сбой, — своеобразный перевод, по точному наблюдению С.Г. Бочарова, с «поэтического языка» на «обычный»<sup>11</sup>, типа:

Чего бы ты со мной  
 Здесь не искал в строфах небрежных,  
 Воспоминаний ли мятежных,  
 Отдохновенья от трудов,  
 Живых картин, иль острых слов,  
 Иль *грамматических ошибок...*

(VI, 189)

Так и здесь: начав с официального наименования русского императора (царь царей), Пушкин в конце строфы подбирается (ср. далее «И чем жирнее, тем тяжеле...») к светской молве о «нечаянно пригретом славой», что было некогда отражено в ноэле «Сказки»:

О радуйся, народ: я сыт, здоров и тучен,  
 Меня газетчик прославлял,  
 Я пил, и ел, и обещал,  
 И делом не замучен.

(II, 69)

Та же ситуация была запечатлена в лицейской карикатуре поэта, который «был свидетелем восторга при возвращении победителей, отразившегося в торжественных встречах, стихах и праздниках. На одном из таких торжеств, происходивших в Павловске 27 июля 1814 года, в числе зрителей были и лицеисты <...> Пушкина особенно занимали устроенные между дворцом и павильоном триумфальные ворота, на которых, как будто в насмешку над их малым размером, были написаны два стиха Буниной:

Тебя, текуща ныне с бою,  
Врата победы не вместят!

Пушкин по этому поводу набросал пером рисунок, изображавший происходившее будто бы у «победных врат»: лица, составлявшие шествие, видят, приближаясь к воротам, что они действительно «не вместят» государя, который еще при этом пополнил в Париже, и некоторые из свиты бросаются рубить их»<sup>12</sup>.

#### X

И чем жирнее, тем тяжеле.  
О р<усский> глуп<ый> наш на<род>,  
Скажи, зачем ты в сам<ом> деле  
.....  
Моря достались Альбиону<sup>13</sup>  
.....

В зашифрованной записи четвертая строка здесь, видимо по недосмотру, Пушкиным пропущена. По смыслу, речь должна идти о результатах войны, плоды которой народу не достались. Тогда на место встанет строка о морях, а ниже можно ожидать перечисления остальных «благ» (может быть, — «Французский трон опять Бурбону» и т.д.), а смерду русскому пришлось лишь полагаться на авось.

#### XI

Авось, о шиболет народный,  
Тебе б я оду посвятил,  
Но стихоплет великородный  
Меня уже предупредил.  
Авось дороги нам испр<авят>  
.....



## XII

Авось, аренды забывая,  
Ханжа запрется в монастырь,  
Авось, по манью <Николая>,  
Семействам возвратит С<ибирь>

.....

Про вторую из этих строф В.В. Набоков справедливо заметил: «Здесь анжамбеман; стих 5 наверняка начинался прямым дополнением, относящимся к недописанному предложению (4–5):

Семействам возвратит Сибирь  
<Их сыновей>

В конце строфы, скорее всего, говорилось о Наполеоне; последним словом в стихе 14 могло быть и само его имя. Декабристов Сибирь еще может возвратить их семействам, но Святая Елена своего пленника уже не отдаст. Возможно, так завершалось это очень пушкинское перечисление и тривиальных, и значительных вероятностей, подсказанных словом “авось”»<sup>14</sup>.

Разумеется, словесное продолжение в пятой строке, намеченное Набоковым, вполне условно, но необходимость завершить мысль о возвратившихся из Сибири, не позволяла там повторять «Авось...». Пятая строка шифрованной записи в этой строфе могла быть по недосмотру пропущена Пушкиным в силу однородности двух строф, начинающихся одним и тем же словом.

Последние строки данного фрагмента перекликаются с письмом Пушкина Вяземскому, написанному 5 ноября 1830 г.: «Каков государь? Молодец! Того и гляди наших каторжников простит — дай Бог ему здоровья» (XIV, 122). Что же касается начала строфы, то В.В. Набоков полагал, что здесь мог иметься в виду кн. А.Н. Голицын, некогда (до 1824 г.) министр просвещения. Наряду с Голицыным Ю.М. Лотман указывает и на М.Л. Магницкого, «к которому гораздо более подходит выражение “аренды забывая”. Магницкий был исключительно корыстолюбив»<sup>15</sup>. Уверенно относят к Магницкому эти строки Словарь языка Пушкина (см. Т. 4. С. 800) и Справочный том (см. с. 270). В сохранившемся контексте строфы (надежды на Николая I) воспоминание о Магницком в самом деле более уместно. Дело в том, что еще в период междуцарствия в конце 1825 г., по повеле-

нию вел. кн. (пока еще) Николая Павловича, Магницкий был выслан из Петербурга и находился под следствием в Ревеле в результате ревизии Казанского университета генералом-майором П.В. Желтухиным. В докладе министру народного просвещения А.С. Шишкову, оценивая ханжескую атмосферу, насаждаемую Магницким, Желтухин, в частности, писал: «...если, наконец, допустить, что все сии правила, приличные самым строгим монастырским обителям, исполняются в точности питомцами университета, в таком случае можно иметь справедливое опасение, чтобы в сих молодых людях не укоренилось лицемерие, столь пагубное, под личиною благочестия скрывающее многие пороки, вредные для благосостояния гражданского общества». Но главным результатом ревизии оказалось вскрытое казнокрадство ханжи-попечителя (Н.И. Греч писал о результатах его деятельности в университете: «ханжество, лицемерие, а с тем вместе разврат и нечестие дошли там до высшей степени»)<sup>16</sup>. Между прочим, когда попутно обнаружилось, что Магницкий «попытался через подставное лицо продать одно из своих имений, то на его имущество был наложен протест»<sup>17</sup>. Об арендах в связи с ханжескими повадками этой одиозной фигуры упоминалось в сатире А.Ф. Воейкова «Дом сумасшедших»:

Пред безумцем на амвоне —  
Связка кавалерских лент,  
Просьбица о пансионе,  
Святцы, список всех *аренд*,  
Дач, лесов, земель казенных  
И записки о долгах.  
В размышленьях сих духовных  
Изливал он яд в словах:

Я, как дьявол, ненавижу  
Бога, ближних и царя,  
Зло им сделать — сплю и вижу,  
В честь Христова алтаря!  
Я за орден — христианин,  
Я за деньги — мартинист,  
Я за землю — мусульманин,  
*За аренду* — атеист<sup>18</sup>. (Курсив наш. — С.Ф.)

Отметим попутно, что слово «аренда» в сочинениях Пушкина употреблено лишь единожды — можно предпо-

лагать, именно в качестве скрытой цитаты из сатиры Воейкова.

### XIII

Сей муж судьбы, сей странник бранный,  
Пред кем унизились <цари>,  
Сей всадник, Папою венчаный,  
Исчезнувший как тень зари<sup>19</sup>,  
Измучен казнию покоя

Эти строки, как известно, послужили П.О. Морозову ключом для расшифровки пушкинской записи, так как почти без изменений были повторены в болдинском стихотворении «Герой». Отмечено также, что Пушкин, в сущности, дал здесь вариацию строк стихотворения «Недвижный страж дремал на царственном пороге...», отчасти предвосхищенных еще в лицейских «Воспоминаниях в Царском Селе». Это позволяет и в других строфах десятой главы предполагать пушкинские автореминисценции. Так, пятая строка данной строфы — это отсылка к тексту «Героя»:

...на скалу свою  
Сев, мучим казнию покоя,  
Осмеян прозвищем героя,  
Он угасает недвижим,  
Плащом закрывшись боевым.

(II, 311)

Перспектива же дальнейшего развития темы данной строфы, вероятно, предвосхищена пушкинской дневниковой записью 1821 г.: «О<рлов> говорил в 1820 г.: революция в Испании, революция в Италии, конституция здесь, конституция там... Господа государи, вы сделали глупость, свергнув Наполеона» (XII, 304. Оригинал на фр. яз.).

### XIV

Тряслися грозно Пиренеи,  
Волкан Неаполя пылал,  
Безрукий к<нязь> друзьям Морей  
Из К<ишинева> уж мигал  
Кинжал Л<увеля>, тень Б<ертона>

Последняя строка до конца расшифрована В.В. Набоковым, но отнесена им к строфе с упоминанием о «холопе», начало которой комментатор даже реконструировал в стихах<sup>20</sup>.

Но в строфе XIV, как вполне очевидно, перечислялись революционные потрясения в Европе начала 1820-х гг., поэтому воспоминания о Лувеле и Бертоне здесь были бы более уместны.

## XV

«Я всех уйму с моим народом», —  
Наш <царь> в конгрессе<sup>21</sup> говорил.

.....

Две следующие строки (о «холопе») обычно включаются в эту строфу, что едва ли корректно, так как они оказываются не зарифмованными при чтении подряд. Ставя в шифрованную запись соответствующие строки написанных строф, Пушкин едва ли мог перескочить от первого четверостишия строфы ко второму или третьему. Более понятна была бы другая его неточность, здесь допущенная: процитировав на правом полулисте первые строки одной строфы, на левом полулисте он по ошибке обратился к строкам 3–4 следующей строфы. Так, — что, на наш взгляд, совершенно справедливо, — трактует текст В.В. Набоков. Однако его предположение о том, что здесь имеется в виду Веронский конгресс Священного союза (1822), едва ли верно<sup>22</sup>. Мы присоединяемся здесь к комментарию Ю.М. Лотмана: «Возможно, что слова, вложенные в уста Александра, — начало, видимо, легендарного диалога русского императора в Троппау (*Шильдер Н.К. Император Александр I. Т. IV. СПб., 1898. С. 184–185, 469*). Согласно рассказывавшемуся в России в 1820-х гг. анекдоту, — на слова Александра I о том, что на спокойствие России он может положиться, Маттерних якобы сообщил еще ничего не знавшему царю о восстании в Семеновском полку. Такое предположение делало естественным переход к следующей строфе, повествующей о восстании в Семеновском полку»<sup>23</sup>. В свою очередь, упоминание Троппауского конгресса позволяет наметить комментарий к двустрочному осколку следующей строфы, сохранившемуся в пушкинской шифрованной записи, — текст которого необходимо существенно уточнить.

## XVI

.....

.....

А кто тебе и в ус не дует,  
Ты, А<рхипасторский?> холоп

.....

Начиная с П.О. Морозова, эти зашифрованные строки читаются так: «А про тебя и в ус не дует, / Ты, Александровский холоп». Но идиоматическое выражение в значении «пренебрегает, ставит ни во что» требовало в ту пору не родительного, а дательного падежа — ср. в «Горе от ума»:

А наши старички? Как их возьмет задор,  
Засядут о делах, что слово — приговор.  
Ведь столбовые все; в ус никому не дуют...<sup>24</sup>

Тогда второе слово в пушкинской строке следует читать как «кто» (так же это слово написано и в строке «Настала — кто тут нам помог»).

Следующая строка трактовалась как выпад против Аракчеева («Александровского холопа»). Но про Аракчеева начала 1820-х гг. нельзя было сказать, что ему «в ус не дули». Темные в общепринятой расшифровке строки приводили к их фантастической интерпретации. В нашем же предполагаемом чтении («архипасторский холоп», т.е. Александр I, основной герой дошедших до нас зашифрованных строк, в последние годы жизни впавший в набожность и мистицизм) представляется возможность непротиворечивого толкования строк, имеющих, вероятно, отношение к тому же Троппаускому конгрессу. Туда, чтобы доложить о восстании в Семеновском полку, был послан из Петербурга П.Я. Чаадаев, который демонстративно отказался от предложенного ему флигель-адъютантского звания и вышел в отставку. След этой истории вполне можно предположить в контексте десятой главы.

## XVII

Потешный полк Петра титана,  
Дружина старых усачей,  
Предавших некогда <тирана>  
Свирепой шайке палачей

.....

Опять же нельзя не заметить переключки этих строк с юношеской одой Пушкина «Вольность»:

Молчит неверный часовой,  
Опущен молча мост подъемный,  
Врата открыты в тьме ночной  
Рукой предательской наемной...

О стыд! о ужас наших дней!  
 Как звери, вторглись янычары!..  
 Падут бесславные удары...  
 Погиб увенчанный злодей.

(II, 47)

Суровая же расправа царя с мятежным Семеновским полком коснулась не только солдат, но и офицеров. Александр I предполагал участие в «бунте» (так и не доказанное следствием) офицеров-масонов, что вскоре привело к закрытию масонских лож по всей России. Можно предположить, что именно этот исторический факт бросает свет на следующую строфу десятой главы, первое слово которой не поддавалось до сих пор уверенному толкованию<sup>25</sup>.

### XVIII

<Масоны> присмирели снова,  
 И пуще <царь> пошел кутить,  
 Но искры пламени иного  
 Уже издавна, может быть

.....

В зашифрованной записи первое слово заменено знаком «PP» — в основе этого шифра могла быть удвоенная начальная буква французского слова «pierre» — камень. Масонство было единственным в России общественным движением, которое предшествовало тайным организациям декабристов. Показательны и сами наименования масонских лож: Вновь возженное светило у трех колонн, Три светила, Малый свет, Озирис звезды пламенной, Северная звезда, Пламенеющая звезда, Полночное шествие под северной звездой, Полярная звезда<sup>26</sup>. Любопытную параллель к пушкинским строкам мы находим в болгаринском доносе «Нечто о Царскосельском лицее и духе оного». Вспоминая об Арзамаском обществе, Ф.В. Булгарин, в частности, писал: «Оно было шуточное, забавное и во всяком случае принесло бы больше пользы, нежели вреда, если бы было направляемо кем-нибудь к своей настоящей цели <...> Сие общество составляли люди, из коих <...> почти все были <...> дети членов новиковской мартинистской секты <...> Дух времени истребил мистику, но либерализм цвел во всей красе! Вскоре это общество сообщило свой дух большей части юношества и, покровительствуя Пушкина и других лицейских юно-

шей, раздувало без умысла искры и превратило их в пламень»<sup>27</sup>. «Присмирели» же масоны после официального закрытия лож в 1822 г., как это было уже при Екатерине II тридцать лет назад.

Специального комментария заслуживает в этой строфе и слово «кутить» — здесь, вероятно, подразумевалось значение, зафиксированное «Словарем Академии Российской»: «производить смутками (т.е. сплетнями, интригами) между другими ссору»<sup>28</sup>.

### XIX

Сначала эти заговоры  
Между Лафитом и Клико  
Лишь были дружеские споры,  
И не входила глубоко  
В сердца мятежная наука,  
Все это было только скука,  
Безделье взрослых шалунов.  
Казалось  
Узлы к узлам  
[И постепенно цепью тайной]  
[Россия]  
Наш ца[рь] дремал...

В зашифрованной записи Пушкина на этом месте сначала предполагалась строфа, открываемая строками:

У них свои бывали сходки,  
Они за чашею вина,  
Они за рюмкой русской водки  
.....

Но в потаенной записи первая из этих строк была зачеркнута — очевидно, потому, что намеченную тему Пушкин решил развить несколько иначе. Не до конца обработанный черновик (ПД 171, л. 1 об.), который обычно помещается в конец строф десятой главы, там оказывается явно не на месте, нарушая хронологию событий. Анахронизмом, по сути дела, является упоминание «сходок» за рюмкой русской водки — здесь имелись в виду, конечно же, «русские завтраки» у К.Ф. Рылеева, относящиеся к 1824–1825 гг.

Несколько путанное, но в чем-то верное толкование контекста строк «Сначала эти заговоры...» и пр. — высказал В.Л. Бурцев: «Иногда их печатали как заключительную

строфу, но это едва ли верно. По содержанию они относятся к северному обществу и притом к более раннему его периоду, а не к южному обществу, где выступал Пестель. Южному обществу посвящена 16-я, заключительная строфа»<sup>29</sup>. Однако в своей реконструкции десятой главы В.Л. Бурцев печатает восемь наиболее обработанных строк строфы «Сначала эти заговоры» через строку отточий после строк «У них свои бывали сходки», — нарушая тем самым ритмический рисунок онегинской строфы.

Начиная с этой строфы, тематика «исторической хроники» существенно преломляется. Выше речь шла в основном о «владыке слабым и лукавом» (возможно, эти строфы были написаны ранее). Теперь же, в Болдине, Пушкин — в контексте новой (десятой) главы — обращается непосредственно к истории декабристского движения.

## XX

Витийством резким знамениты,  
Сбирались члены сей семьи  
У беспокойного Никиты,  
У осторожного Ильи

.....

В зашифрованной записи отражены лишь первые три строки, но строки 3–4 (с вариантом «у вдохновенного Никиты») сохранились в дневниковой записи П.А. Вяземского от 19 декабря 1830 г.

## XXI

Друг Марса, Вакха и Венеры,  
Тут Луний дерзко предлагал  
Свои решительные меры;  
И вдохновенно бормотал,  
Читал свои нозли П<ушкин>;  
Меланхолический Я<кушкин>,  
Казалось, молча обнажал  
Цареубийственный кинжал;  
Одну Росси<ю> в мире видя,  
Лаская в ней свой идеал,  
Хромой Т<ургенев> им внимал  
И, слово «рабс<тво>» ненавидя,  
Предвидел в сей толпе дворян  
Освободителей крест<ьян>...<sup>30</sup>



Эта, как и следующая, строфа отражена в шифрованной записи первыми тремя строчками, но сохранилась в черновом наброске ПД 171 полностью (вариант строки 2: «Им резк Лунин предлагал»).

Отметим, что перифраз «Друг Марса, Вакха и Венеры» почерпнут из стилистической палитры раннего Пушкина (ср.: «Шалун, увенчанный Эратой и Венерой», «Прелестный баловень Киприды», «Улан Пафоса и Киферы» и т.п.), что отражает ориентацию в строфах десятой главы на духовную атмосферу начала 1820-х гг. В 1830-е же годы Пушкин так вспоминал о сожженных автобиографических записках 1821–1825 гг.: «...я в них говорил о людях, которые потом сделались историческими лицами, с откровенностью дружбы или короткого знакомства. Теперь некоторая торжественность их окружает и, вероятно, будет действовать на мой слог и образ мыслей» (XII, 310). Вот этой «торжественности» и старается избежать Пушкин, воскрешая ту пору, когда еще «не входила глубоко в сердца мятежная наука», и следуя по свету «путем одним» со своим героем, в его временном ореоле.

Обращает на себя внимание появление среди персонажей этой строфы самого Пушкина, увиденного со стороны, в качестве равноправного с прочими — исторического лица. В связи с этим Ю.М. Лотман высказывал предположение о возможности изложения всей исторической хроники в десятой главе от имени героя романа, Онегина, — нечто вроде его дневника, подобного его «Альбому», который некогда предназначался для главы седьмой<sup>31</sup>.

Отметим, однако, в данной связи графическую пушкинскую параллель к этому приему. Замечено, что на одной из автоиллюстраций к повести «Гробовщик», написанной 9 сентября 1830 г. (ПД 997, л. 3 об.), изображен сам Пушкин в качестве наблюдателя похоронной профессии. Можно вспомнить также, что в «Послании цензору» (1822) поэт также вспоминал о своих стихах остранинно: «И Пушкина стихи в печати не бывали».

Что же касается самоназывания в романе в стихах, то это следует, вероятно, понять как неидентичность образа Автора — и самого поэта.

## XXII .

Так было над Невою льдистой  
Но там, где ранее весна  
Блестит над Каменкой тенистой  
И над холмами Тульчина,  
Где Витгенштейновы дружины  
Днепром подмытые равнины  
И степи Буга облегли,  
Дела [иные уж] пошли.  
Там Пестель  
И рать набирал  
Холоднокровный генерал,  
И Муравь<ев>, его склоняя  
И полон дерзости и сил,  
Минуты [вспышки] торопил.

Это последняя строфа десятой главы по зашифрованной записи. Но превратившаяся в продолжение романа (после разлуки героя с Татьяной), вновь намеченная глава теперь требовала какого-то фабульного наполнения, должна была повествовать о судьбе возмужавшего героя.

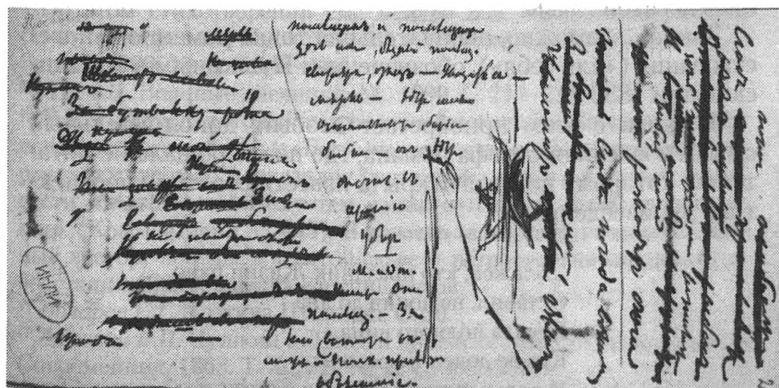
Строфа, перенесенная в начало главы («Наскуча или слыть Мельмотом...»), могла быть туда определена Пушкиным только после возвращения его из Болдина (рукописи «Странствия» в деревне у Пушкина не было). Становится понятным, что «для себя» Пушкин в это время уже намечал, по сути дела, главу девятую, в которой по «святой Руси» намерен отправиться в путешествие герой, навсегда расставшись с Татьяной (кажется, в соответствии с наметкой «Вот это вам письмо точь в точь» — Письмо Онегина было предусмотрено первоначально именно в этой главе). Теперь описание путешествия, очевидно, должно было отличаться по своей тональности от главы «Странствие», предусмотренной болдинским планом романа в девяти главах. Там основным рефреном был крик души героя: «Тоска, тоска...» Ныне герой, кажется, проснулся для деятельности. Нет, однако, никаких оснований считать, что для «подпольной» главы были написаны строфы, содержавшие фабульные события: такой текст не было необходимости целиком уничтожать. Но все-таки лирическую концовку главы Пушкин, по-видимому, вчерне написал.

В сложном черновике ПД 138 (где записан между прочим и план «Метели» — незадолго до 18 октября 1830 г.) А.А. Ахматова угадала скорбное описание места тайного захоронения декабристов<sup>32</sup>. Отталкиваясь от ее догадки, Н.И. Клейман высказал предположение, что здесь мы имеем дело со строфами «Евгения Онегина»<sup>33</sup>.

В реконструкции Н.И. Клеймана эти строки читаются так:

\*

Когда порой воспоминанье  
Грызет мне сердце в тишине  
И отдаленное <?> страданье  
Как тень, опять бежит ко мне,  
Тогда, людей вблизи увидя,  
Их слабый ум <?> возненавидя,  
В пустыню скрыться я хочу,  
Тогда, забывшись, я лечу  
Не в светлый край, где небо блещет  
Неизъяснимой синевою,  
Где море синею волной  
На пожелтелый мрамор плещет,  
Где лавр и темный кипарис  
На воле пышно разрослись.



Черновик последних строк десятой главы  
(ПД 138)

\*

Где пел Торквато величавый,  
 Где и теперь в тиши ночной  
 [Повторены пловца] октавы  
 Далече звонкою скалой

.....

\*

Стремлюсь привычною мечтою  
 К студеным северным волнам,  
 Меж белоглавой их толпою  
 Открытый остров вижу там.  
 Печальный остров — берег дикой  
 Усеян зимнею брусникой,  
 Увядшей тундрою покрыт<sup>34</sup>  
 И хладной пеною подмыт.  
 Сюда порою [приплывает]  
 [Отважный северный рыбак]  
 Здесь он разводит [свой] очаг  
 И мокрый невод расстиляет.  
 Сюда погода в уголок <?>  
 Заносит утлый мой челнок...

Принципиально важно отметить, что этот черновик записан на бумаге того же сорта (№ 43, по описанию Л.Б. Модзалевского и Б.В. Томашевского)<sup>35</sup>, что и шифрованная записка десятой главы.

Такова, возможно, окончательная точка романного повествования («для себя»), обозначенная Пушкиным в болдинские дни 1830 г.

В связи с этим приобретает особый, дополнительный смысл последняя строфа романа, где поэт прощался с читателем, которому не была открыта известная автору перспектива произведения:

...Блажен, кто праздник Жизни рано  
 Оставил, не допив до дна  
 Бокала полного вина,  
 Кто не дочел Ее романа  
 И вдруг умел расстаться с ним,  
 Как я с Онегиным моим.



<sup>1</sup> Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 113.

<sup>2</sup> *Лотман Ю.М.* Комментарий. С. 485–486. Отметим в данной связи, что в 1825 г. Пушкин делился с Н.Н. Раевским планом трагедии «Борис Годунов» в процессе работы над ней (см. XIII, 172, 535).

<sup>3</sup> В рукописи ПД 943 строфа эта обозначена уже в переработанной редакции: «Блажен, кто *смолоду* был молод».

<sup>4</sup> *Тархов А.Е.* Комментарий. С. 268.

<sup>5</sup> *Морозов П.О.* Шифрованное стихотворение Пушкина // Пушкин и его современники. СПб., 1910. Вып. XIII. С. 1–12.

<sup>6</sup> См.: *Томашевский Б.В.* Десятая глава «Евгения Онегина». История разгадки // ЛН. Т. 16–18. М., 1934. С. 379–420. Несколько нетрадиционно намечает последовательность строф зашифрованной главы Н.Л. Бродский — см.: *Бродский Н.Л.* Комментарий к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 5-е изд. М., 1964. С. 357–384. В.В. Пугачев, вслед за Ю.Г. Оксманом, полагал, что это зачин некоего самостоятельного произведения, написанного онегинской строфой — см.: *Пугачев В.В.* Радищев, Карамзин, Пушкин. Саратов, 1992. С. 196–205. В.А. Кожевников предполагает, что в шифрованной записи были сохранены Пушкиным и строфы из других глав — те, которые при печати были обозначены как пропущенные, — см.: *Кожевников В.А.* Шифрованные строки «Евгения Онегина» // Новый мир. 1988. № 6. С. 259–266 (послесловие В.Н. Турбина «Ужели слово найдено?» — С. 266–268); *Он же.* «Вся жизнь, вся душа, вся любовь...»: Перечитывая «Евгения Онегина». М., 1993. С. 138–151.

<sup>7</sup> *Набоков В.В.* Комментарий. СПб., 1998. С. 643. Возможность такого чтения предполагал и Н.Л. Бродский — см. его комментарий. С. 357.

<sup>8</sup> Об этом стихотворении см.: *Вацуро В.Э.* Продолжение спора: (О стихотворениях Пушкина «На Александра I» и «Ты и вы») // Звезда. 1999. № 6. С. 142–148.

<sup>9</sup> 1812 год. Военные дневники. М., 1990. С. 210–211.

<sup>10</sup> В.В. Набоков, который также отмечал сомнительность расшифровки первого слова как «Бог», отметил к тому же контрастную переключку строк об Александре I в десятой главе и фрагмента из повести «Метель»: «Между тем война со славою была кончена...» и пр. (Комментарий. С. 645). В повести запечатлен непосредственный восторг победы, в десятой главе — ретроспективная, накануне восстания 1825 г., оценка «деяний» царя.

<sup>11</sup> *Бочаров С.Г.* Поэтика Пушкина. С. 30.

<sup>12</sup> *Гаевский В.П.* Пушкин в Лицее и лицейские его стихотворения // Современник. 1863. Т. ХСVII. № 8. С. 366–367.

<sup>13</sup> Эту строку Б.В. Томашевский в Большом академическом издании прикрепляет к следующей строфе, что, на наш взгляд, совершенно нелогично (авось — «Моря достались Альбиону»??).

- <sup>14</sup> Набоков В.В. Комментарий. С. 647.
- <sup>15</sup> Лотман Ю.М. Комментарий. С. 493.
- <sup>16</sup> См.: Феоктистов Е. Магницкий. СПб., 1865. С. 206; Греч Н.И. Записки о моей жизни. М.; Л., 1930. С. 372.
- <sup>17</sup> Гордин Я.А. Мистики и охранители: Дело о масонском заговоре. СПб., 1999. С. 92.
- <sup>18</sup> Лотман Ю.М. Сатира Воейкова «Дом сумасшедших» // Труды по русской и славянской филологии. XXI. Литературоведение. Тарту, 1973. С. 22.
- <sup>19</sup> О поэтизме «тьнь зари» (падший ангел) см.: Вацура В.Э. Записки комментатора. СПб., 1994. С. 82–84.
- <sup>20</sup> См.: Набоков В.В. Комментарий. С. 652.
- <sup>21</sup> П.О. Морозов прочитал это слово как «покое». Правильное чтение предложено Н.Н. Фатовым (см.: Бродский Н.Л. Комментарий. С. 403).
- <sup>22</sup> Набоков В.В. Комментарий. С. 652.
- <sup>23</sup> Лотман Ю.М. Комментарий. С. 494.
- <sup>24</sup> Грибоедов А.С. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 46.
- <sup>25</sup> «Ребята» (Морозов П.О. Шифрованное стихотворение Пушкина. С. 6), «Роб Рои» (Обручев С. К расшифровке десятой главы «Евгения Онегина» // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. 4–5. М.; Л., 1939. С. 502–507), «Россия» (присмирела) (VI, 523), «Эр-Эры» (т.е. «Русские Рыцари») (Гербстман А.И. Кто такие «Р.Р.»? (О непрочитанной строке десятой главы «Онегина» // Страницы истории русской литературы. М., 1971. С. 131–135).
- <sup>26</sup> См.: Серков А.И. История русского масонства XIX века. СПб., 2000. С. 379–383.
- <sup>27</sup> Модзалевский Б.Л. Пушкин под тайным надзором. 3-е изд. Л., 1925. С. 36–37.
- <sup>28</sup> Виноградов В.В. История слов. М., 1994. С. 260.
- <sup>29</sup> Пушкин А.С. 8-ая, 9-ая и 10-ая главы романа «Евгений Онегин»: (К истории искаленного романа) / Введ., примеч. и ст. В.Л. Бурцева. Париж, 1937. С. 144.
- <sup>30</sup> Об истолковании раздраженной реакции Н.И. Тургенева на пушкинские строки о нем см.: Листов В.С. Новое о Пушкине: История, литература, зодчество и другие искусства в творчестве поэта. М., 2000. С. 105–111.
- <sup>31</sup> Лотман Ю.М. Комментарий. С. 490.
- <sup>32</sup> Ахматова А.А. О Пушкине. Статьи и заметки. Л., 1977. С. 148–158.
- <sup>33</sup> Клейман Н.И. О тексте пушкинского наброска «Когда порой воспоминанье...» // Болдинские чтения. Горький, 1977. С. 62–79. См. также: Тархов А.Е. Комментарии. С. 297–298. Оба исследователя относят эти строфы к наброскам главы «Странствие».
- <sup>34</sup> Иногда считается, что слово «тундра» здесь указывает на пейзаж

Крайнего Севера. Но в словоупотреблении пушкинского времени это определение использовалось для описания природы мшистых, болотистых мест в средней полосе России. Ср. в идиллии Н.И. Гнедича «Рыбаки»: «...на Невские тундры роса опустилась...» (*Гнедич Н.И. Стихотворения. Л., 1956. С. 199–200*) и в стихотворении А.М. Бакунина «Ручей», где речь идет о Тверском крае: «Давно ли здесь по тундре мшистой / Тропинка к гибели влекла?.. » (*Бакунин А.М. Собрание стихотворений. Тверь, 2001. С. 17*).

<sup>35</sup> *Модзалевский Л.Б., Томашевский Б.Л.* Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме. Научное описание. М.; Л., 1937. С. 304.

## *Указатель имен*

- Александр I 29, 153, 160–162, 169  
Апулей 7  
Аракчеев А.А. 154, 161  
Арина Родионовна — см. Яковлева А.Р.  
Асмодей — см. Вяземский П.А.  
Атрид (миф.) 11  
Ахматова А.А. 167, 170
- Баевский В.С. 22, 143  
Байрон Дж. 25, 34–39, 42, 62, 100, 101, 138, 139, 143  
Бакунин А.М. 171  
Баратынский Е.А. 17  
Барклай-де-Толли М.Б. 154  
Барт Н. 47–48  
Беликова А.В. 42  
Белинский В.Г. 10, 15, 28  
Бель П. 128  
Бертон Ж.Б. 159, 160  
Бестужев А.А. 35, 40, 92  
Благой Д.Д. 33, 42  
Блудов Д.Р. 139  
Богданович И.Ф. 65  
Бонамур Ж. 48  
Бочаров С.Г. 8, 15, 86, 87, 143, 155, 169  
Бродский Н.Л. 143, 169, 170  
Булгаков К.Я. 8  
Булгарин Ф.В. 162  
Бунина А.П. 156  
Бурбоны, династия 156  
Бурцев В.Л. 108, 163, 164, 170
- Вацуро В.Э. 169, 170
- Вигель Ф.Ф. 56  
Викери В. 36  
Виноградов В.В. 170  
Воейков А.Ф. 158, 159, 170  
Воронцов М.С. 77  
Воронцова Е.К. 57, 74–77  
Вяземская В.Ф. 74  
Вяземский В.В. 154  
Вяземский П.А. (Асмодей) 9, 14, 22, 35, 46, 55, 78, 95, 96, 100, 139, 143, 146, 157, 164
- Гаевский В.П. 169  
Гербстман А.И. 170  
Гердер И.Г., фон 128  
Гиббон Э. 128  
Гиллельсон М.И. 143  
Гнедич Н.И. 17, 18, 20, 21, 40, 147, 171  
Голицын А.Н. 157  
Голицын Н.Б. 8, 13  
Гольштейн В. 30  
Гомер 17  
Гораций 52  
Гордин Я.А. 170  
Греч Н.И. 170  
Грибоедов А.С. 46–48, 50, 55, 100, 170  
Гримм (Грим) Ф.-М. 51  
Гринбаум О.Н. 31  
Гроссман Л.П. 24, 30, 31
- Данте А. 34  
Декарт Р. 150  
Дельвиг А.А. 7, 17, 40



- Державин Г.Р. 15, 25, 28, 31, 111, 117  
 Диц Ф. 66  
 Дмитриев И.И. 117  
 Дружников Ю. 42  
 Дьяконов И.М. 35, 42, 45, 55, 108, 111
- Евдокимова С. 30  
 Еголин А.М. 30  
 Екатерина II 163  
 Елисавета Петровна, императрица 27
- Жандр А.А. 55  
 Желтухин П.В. 158  
 Жуковский В.А. 7, 40
- Иваненко А. 143  
 Иезуитова Р.В. 102  
 Илюшин А.А. 31  
 Инзов И.Н. 22
- Карамзин Н.М. 8, 96, 169  
 Катенин П.А. 30, 42, 89, 140, 146  
 Катон 137  
 Квятковский А.П. 24, 27, 31  
 Керим Гирей, хан 9  
 Киселева (урожд. Потоцкая) С.С. 9  
 Клейман Н.И. 167, 170  
 Княжнин Я.Б. 38  
 Кожевников В.А. 143, 169  
 Козмина Л.В. 96  
 Констан Б. 36  
 Кошелев В.А. 143  
 Крылов А.Л. 100  
 Кутузов М.И. 150, 154, 155  
 Кушниренко В.Ф. 22  
 Кюхельбекер В.К. 17, 20, 22, 55, 89, 91–94, 96, 141, 143
- Лагарп Ж.Ф., де 48  
 Лакшин В.Я. 15  
 Левичева Т.И. 55  
 Лермонтов М.Ю. 94, 96  
 Листов В.С. 170  
 Ломоносов М.В. 31  
 Лотман Ю.М. 37, 42, 105, 111, 142, 143, 145, 157, 160, 165, 169, 170
- Лувель П.Л. 159, 160  
 Лугинин Ф.Н. 22  
 Лунин М.С. 164, 165
- Магницкий М.Л. 157, 158, 170  
 Манзони А. 128  
 Маттерних К.160  
 Мейлах Б.С. 33, 42  
 Мериме П. 144  
 Митридат 11  
 Мицкевич А. 11  
 Модзалевский Б.Л. 18, 168, 170, 171  
 Мокриенко В.М. 15  
 Молчанов П.С. 7  
 Морозов П.О. 151, 155, 159, 161, 169, 170  
 Моцарт В.-А. 66  
 Муравьев Н.М. 166  
 Муравьев-Апостол И.М. 9
- Набоков В.В. 6, 15, 20, 24, 28, 30, 31, 45, 54, 55, 108, 110, 111, 143, 152, 157, 159, 160, 169, 170  
 Наполеон I 150, 154, 155, 157, 159  
 Натали, Наталия Николаевна — см. Пушкина Н.Н.  
 Нащокин П.В. 88  
 Нельсон Г. 150  
 Нессельроде К.В. 14  
 Никишов Ю.М. 31  
 Николай I 157, 158
- Обручев С. 170  
 Одоевский В.Ф. 150  
 Оксман Ю.Г. 143, 169  
 Ольга — см. Павлищева О.С.  
 Орлов М.Ф. 159  
 Осипова П.А. 85  
 Осиповы-Вульф 110
- Павлищева (урожд. Пушкина) О.С. (Ольга) 60, 73  
 Парни Э. 65  
 Пестель П.И. 89, 164, 166  
 Петр I 97, 161  
 Петрарка Ф. 24  
 Пилад (миф.) 11  
 Плетнев П.А. 7, 40

- Поспелов Н.С. 24, 30  
 Потоцкая М. 9  
 Пугачев В.В. 169  
 Пушкина Н.Н. (Натали, Наталья Николаевна) 114, 115  
 Пущин И.И. 89  
  
 Радищев А.Н. 169  
 Раевская Е.Н. 14  
 Раевские 9  
 Раевский А.Н. 13  
 Раевский Н.Н., старший 8, 14  
 Раевский Н.Н., младший 49, 169  
 Расин Ж. 34  
 Ризнич А. 115  
 Руссо Ж.-Ж. 36, 51, 128  
 Рылеев К.Ф. 34, 89, 92, 150, 163  
  
 Саади (Сади) Муслих-эд-дин 138, 139  
 Семенова Е.С. 55  
 Сен-При Э.-К. 137  
 Серков А.И. 170  
 Сидоренко К.П. 15  
 Соловьёва О.С. 143  
 Сомов О.М. 106  
 Сосницкий И.И. 50, 55  
 Сперантов В. 31  
 Сталь А.-Л.-Ж., де 128  
 Строганов М.В. 31  
  
 Тархов А.Е. 15, 141, 143, 150, 169, 170  
 Тархова Н.А. 15  
 Тассо Т. 104, 168  
 Тиссо П.Ф. 128  
 Токвиль А., де 128  
 Толстой Л.Н. 36  
 Толстой Ф.И. 44, 47, 85, 87  
 Толстой Я.Н. 17, 18  
 Томашевский Б.В. 24, 30, 31, 168, 169, 171  
 Торквато — см. Тассо Т.  
 Третьяковский В.К. 31  
 Турбин В.Н. 169  
 Тургенев А.И. 22, 146  
 Тургенев И.С. 36  
 Тургенев Н.И. 164, 170  
  
 Фатов Н.Н. 170  
 Феоктистов Е. 170  
 Фонвизин Д.И. 38  
 Фонтенель Б., де 128  
  
 Хаев Е.С. 86, 87  
 Хвостов Д.И. 31  
 Хмельницкий Н.И. 17, 20, 50, 51  
  
 Цицерон 7, 108, 116  
 Цявловский М.А. 39, 42  
  
 Чаадаев П.Я. (Чедаев) 14, 44, 46, 47, 161  
 Чайковский П.И. 94  
 Чедаев — см. Чаадаев П.Я.  
 Чернов А.Ю. 55, 92  
  
 Шаликов П.И. 29–32  
 Шамфор С. 128  
 Шаховской А.А. 47, 54  
 Шекспир У. 91  
 Шенье А. 45, 55, 90  
 Шиллинг-фон-Конштадт П.Л. 101  
 Шильдер Н.К. 160  
 Шишков А.С. 120, 158  
 Шоу Дж.Т. 30  
  
 Эредиа Ж.М., де 24  
 Эткинд Е.Г. 30  
  
 Юдин П.М. 8  
 Юзефович М.И. 145  
  
 Языков Н.М. 110  
 Яковлева А.Р. (Арина Родионовна) 60  
 Якушкин И. 164  
  
 Wopatour J. 55  
 Вугон D. 116  
  
 Laharpe 55  
 Vicery W.N. 42

# Содержание

«Даль свободного романа» .....	5
«На волю птичку выпускаю...» .....	16
Онегинская строфа .....	23
«В роде Дон-Жуана...» .....	33
«Деревня, где скучал Евгений...» .....	43
«Я вам пишу...» .....	56
На перепутье .....	78
Исчезнувшая глава .....	88
А где Онегин? .....	97
«Вздыхать о сумрачной России...» .....	103
«Перо покоя просит...» .....	112
 <i>Приложение</i>	
Десятая глава (Проблемы реконструктивного анализа) .....	145
 <i>Указатель имен</i> .....	 172

**Фомичев С.А.**

Ф-766 «Евгений Онегин»: Движение замысла. — М.:  
Русский путь, 2005. — 176 с., илл.

ISBN 5-85887-128-3

Монография посвящена исследованию возникновения и развития замысла романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин», анализу хода работы над произведением, обстоятельств, повлиявших на его создание, а также проблемам реконструкции текста.

Издание иллюстрировано рисунками и автографами А.С. Пушкина.

**ББК 83.3(2Рос)1**

**Сергей Александрович Фомичев**

**«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»**

**Движение замысла**

Оформление *П.А. Сандомирского*

Редактор *О.Б. Василевская*

Корректор *А.З. Лазуткина*

Подписано в печать 20.03.2005  
Формат 84х108/32. Тираж 2 000 экз.  
Заказ №1106

ЗАО «Издательство “Русский путь”»  
109240, г. Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2  
Тел.: (095) 915-10-47. E-mail: info@rp-net.ru  
Сайт в Интернете: www.rp-net.ru

ISBN 5-85887-128-3



9 785858 871286 >

Отпечатано в ОАО «Типография «Новости»  
107005, Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 46